

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Я. ГОРИНА»

Музей истории университета



Дронов Александр Тихонович

Узелки в памяти

(Воспоминания. Июнь 1941 – апрель 1942 гг.)



Майский 2015

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Я. ГОРИНА»**

**Музей истории университета**



**Дронов Александр Тихонович**

**Узелки в памяти**

**(Воспоминания. Июнь 1941 – апрель 1942 гг.)**

**Майский 2015**

УДК 94(47). 084.8(093.3)

ББК 63.3(2)622

Д 75

**Дронов А.Т. Узелки в памяти** (Воспоминания. Июнь 1941 – апрель 1942 гг.) / А. Т. Дронов. – Майский: Изд-во Белгородского ГАУ, 2015. – 80 с.

## Вместо предисловия



В период с 1975 по 1983 год мне посчастливилось работать в отделе овцеводства НИПТИЖ ЦЧЗ с очень ярким интересным человеком – Дроновым Александром Тихоновичем.

Уроженец донской станицы он в 1937 году окончил зоотехнический институт в Ставрополе, был направлен на работу в Башкирию откуда его и призвали в армию в первые дни войны. Прошел путь от солдата до начальника штаба отдельной части в звании гвардии капитана.

Случилась так, что мне довелось держать в руках и прочитать три тетради его фронтовых воспоминаний, на одной из которых в качестве эпитафии приведены слова Куренева:

«Нас все меньше, кто прошел  
обжиг в преисподней.  
Узелочки, узелки...  
Память будь же твердой,  
Не споткнись и не солги  
Ни живым, ни мертвым...»

В этих записях во всем своем величии и простоте встает подвиг обыкновенного русского человека, на долю которого выпали такие ис-

пытания, которые сломали жизнь и судьбы целых поколений.

Война для Александра Тихоновича началась на Волховском фронте, где ему довелось участвовать в тяжелейших оборонительных боях под Ленинградом. Именно на этот период пришлось награждение Александра Тихоновича первой боевой наградой – медалью «За отвагу», которой он очень гордился. По его рассказам, до победы под Сталинградом награды были вообще очень редким событием, а эта медаль приравнивалась к ордену.

Александр Тихоновичу пришлось в составе 18 армии участвовать в тяжелейших боях за освобождение Тамани и Новороссийска.

В своих записях он вспоминает: «Трудные это были бои. Слева море, справа горы, с которых весь город просматривался, а впереди оцетинившиеся огнем опорные пункты врага, где каждый дом, каждый этаж, каждое окно, каждый ДЗОТ были буквально начинены огневыми средствами и живой силой. Они поливали свинцом и огнем каждый метр улиц и площадей города.

После тяжелейших боев, 16 сентября 1943 года в 10 часов утра город Новороссийск был освобожден, но он был пуст. Жители бежали от немцев в горы, а тех, кто остался, немцы либо уничтожили, либо угнали в концлагеря. Каждого мирного жителя, появившегося в городе – расстреливали. Немцы смертельно боялись партизан. А они все-таки действовали (их там было 5 отрядов)».

За участие в этих боях Дронов А.Т. был награжден орденом Красной Звезды. Были на его долгом воинском пути и другие награды, и контузии, и ранения, и потери боевых друзей. День Победы гвардии капитан встретил в Златой Праге.

В рядах Советской армии Дронов А.Т. служил до августа 1947 года, а вернувшись на родной Дон, приступил к мирной работе по воссозданию животноводства.

На Белгородчину он перебрался к своей дочери Вере, которая работала заведующей сектором в НИПТИЖ ЦЧЗ.

Александр Тихонович Дронов был талантливым селекционером, и свой богатый жизненный и профессиональный опыт щедро передавал всем нам, с кем работал и общался.

П. П. Корниенко,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
декан технологического факультета

**Память о 41-м не угасает. Сумею ли рассказать?  
Тщеславная надежда**

Очевидно, в жизни многих пожилых людей бывают события, память о которых мало угасает, крепко держится: узелки, видно, затянуты насмерть. Они чем дальше, тем чаще и чаще дают о себе знать, высвечиваются то той, то иной своей гранью.

В моей жизни такими событиями были бои на фронте и восстановительно-дорожные работы в прифронтовой полосе в первый год Великой Отечественной войны. Это и отступление от Луги к Ленинграду в июле - августе 1941 года, и оборона ближних подступов к нему в Приладожской низине в 1941 - 1942 годах, это и наступательные бои на ...игинско-синявинском направлении по деблокированию Ленинграда летом и осенью 1942 года, это и первое ранение, и первая контузия, и первая правительственная награда.

Было ведь много других, значительных для меня событий в годы моей молодости. Были они и в предвоенные годы, были и в годы войны, особенно в середине и в конце ее (1943 - 1945 гг.). Сколько боев пережило! Сколько победных сражений свершилось на моих глазах, при моем непосредственном участии в них! Но вот первый год войны оставил в моей памяти самые глубокие и самые тугие узелки, а на моем сердце - самые чувствительные рубцы.

«Почему так?» - часто спрашиваю я себя.

«Да потому, очевидно, что в эти годы, как и у всех людей нашей страны, произошла глубочайшая ломка всей моей жизни. Как-то незаметно, исподволь обесценились одни моральные устои, одни мечты и стремления и утвердились другие, новые. Изменились взгляды на жизнь, мое место в жизни, на мое место на войне. Изменился я сам, изменились все, кто окружал меня, изменился весь народ, изменилась вся страна. Мы из мира созидания сразу вступили в пучину войны, тяжелых физических и моральных испытаний. Что касается основной жизненной позиции, то она осталась прежней. У меня не было никаких колебаний, никаких сомнений в правоте дела Ленина - Сталина. Такое было не только со мной. С кем не поговорю из своих друзей-одноклассников, каждый готов излиться о своем, о самом-самом из того, что было тогда, в окровавленном 41-м.

В этих своих записках-воспоминаниях ничего нового, ничего захватывающего, интересного, сногшибательного я не собираюсь, ибо говорить буду только о том, что было со мной и моими товарищами, и так, как оно было. Пусть даже это «оно» и не красит меня, не создает ореол

славы. Говорить буду о том, что тянет и тянет меня в те годы.

Мне очень понравилась мысль, высказанная Сергеем Баруздиным в «Исповеди»:

Радости и невзгоды  
Жизнь выдает сполна,  
Но тянет меня в те годы,  
Хотя все дальше война.

\* \* \*

Все с новой и новой силою  
Встают те годы, трубя...  
(журнал «Юность» №7, 1979 год)

Вот именно. И я чувствую, что самым верным средством избавиться от их «трубного зова», - это выплеснуть из души хотя бы частицу того, что накопилось, о чем нет мочи молчать, от чего ничем другим не избавишься.

Так-то оно так, но приступить к этому как? Гложет сомнение: сумею ли я, если уж не с «совершенной полностью», то, хотя бы кое-что, но доходчиво, в духе того времени и более или менее точно рассказывать про все то. Сумею ли я хотя бы кратко рассказывать о тех, с кем был рядом, за кем шел или кого вел за собой, с кого брал пример, кого любил, кого ненавидел. Сумею ли не обеднить события и не выпятить самого себя? Сразу скажу: выпячивать то себя не за что.

И тут меня надоумил никто иной, как бунинский Арсеньев. Он говорил: «Но тут меня охватило возмущение: да почему я обязан что-то и кого-то знать с совершенной полностью, а не писать так, как знаю и как чувствую» (И.А. Бунин...Жизнь Арсеньева. Рассказы. Воронеж, 1978). В самом деле, думаю я, не гладко, не художественно. Коряво, плохо, но могу же я рассказать своим родным об очень важном периоде в моей жизни? Думаю, что могу. Так в чем же дело?

Кроме всего того, о чем я уже сказал, признаюсь (от родных это грех скрывать), что меня заинтересовал, в мою душу заронил тщеславную надежду, все тот же Арсеньев. Помните, как он размышлял о боевой молодости своего отца: «...Но я шел на все - где-то там, вдали, ждала меня отцовская молодость. Видение этой молодости жило во мне с младенчества. ...Было что-то, что связывалось с моим смутным представлением дней Крымской войны: какие-то редуты, какие-то штурмы, какие-то солдаты того особенного времени...

...Оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь уже мирного, вечного и даже как-будто чего-то моего собственного, тоже давно забытого» (там же, с. 246-249).

Ну, скажите, пожалуйста, кого не осенит тщеславная надежда, что

и его дети, племянники, внуки или хотя бы кто-либо из родных, тоже, может, когда-нибудь, пройдут по тем же местам, где «в перекрестии панорамы орудий врага» билась наша жизнь, наша молодость, жизнь и молодость друзей-однополчан.

Может же так случиться?! А для этого и надо мне хотя бы какую-то малость рассказать Вам о тех местах, о тех боях, о неимоверно тяжелом труде, о том времени, о тех безвестных воинах, что выстояли, вытерпели все, и о себе. О том, что было до Вас. На том и решим.

### **Марш полка к фронту**

22 июня 1941-го года наш 590 ОСБ инженерных войск встретил в тишине лесов, озер и рек Вологодской области. Огненных всполохов первых дней войны мы не видели. Гром войны докатывался до нас эхом людского возмущения и стога. Услышав о войне, меня охватило странное чувство давно ожидаемой, но неожиданно нагрянувшей беды. Я, как и миллионы советских людей, был уверен в том, что Германия на нас нападет: к этому вела вся кровавая история немцев, к этому вела захватническая политика Гитлера в последние годы. Но – парадокс! Людям, нашим руководителям, которым, как говорится, по долгу службы должно было быть это ясным, почему-то казалось, что это не так. Во всяком случае, если это и будет, говорили они, то не скоро.

Помню, как в газетах мая – июня месяцев того года, «громили» тех, кто сомневался в нерушимости пакта о ненападении, договора о мире между СССР и Германией. В народе росло чувство опасности войны с сегодня на завтра, а в руководстве царил беспечность. Мы были буквально в плену слухов о скорой войне, а нас убеждали не верить этим слухам, не поддаваться провокациям... Удивительная ситуация.

Приведу в связи с этим высказывание Маршала Советского Союза Ерошенко А. М., вычитанное мною в его книге уже после войны. Вот, что он пишет: «...я понял, что начавшаяся война будет для нас неимоверно тяжелой, особенно в начальном периоде. Действительно, ведь если мне, в то время генерал-лейтенанту, командарму, почти ничего не было известно о приближении войны, то какой внезапной она должна была показаться для солдат, для младшего и среднего состава, для всего советского народа» («На Западном направлении». М., 1959.). Вот так-то мы встречали войну.

### **Первые дни войны**

Плыли баржами, ехали поездом. Но больше все пешком, в походных колоннах. Многокилометровый марш по проселочным дорогам, по



лесам и болотам, по бездорожью, к фронту, к реке Луге, для меня был тяжелым физическим испытанием: интеллигент же!

Полк спешил на помощь нашим частям, сражавшимся с врагом на западных оборонительных рубежах. Марш навстречу ненавистному врагу. Остановить, а затем и разгромить его! Потом-то, после, я понял, сколь тщетны были наши желания и усилия. А тогда мы и не думали иначе как: «Вот мы ему дадим! Дадим так, чтобы, как говорилось в народе, ему неповадно было совать свое свиное рыло в наш советский огород». Мы твердо были убеждены, что «ни одного вершка своей земли не отдадим никому» и, что «воевать будем на чужой территории» ... Были убеждены в этом, стремились к этому.

А сами-то, Боже мой! «Годные, необученные!» Пушек, пулеметов – в глаза не видали, не говоря уже о современном автоматическом оружии, танках и пр.

На вооружении у нас винтовка (у моей номер 3876), гранаты да бутылки с горючей жидкостью (оружие против танков) – вот и все! И при всем при том, были убеждены в своей победе. Были!

А пока...пока идем, идем, все ближе и ближе к фронту.

Трудными, изнурительными были 25-30 километровые ежедневные переходы. Дороги разбиты и забиты войсками, движущимися на запад, и встречным потоком беженцев с запада на восток. В тыл страны ехали, на чем попало, и шли тысячи людей. Сотни машин везли добро колхозов, совхозов, МТС, фабрик и заводов... Колхозники гнали гурты коров, отары овец, даже группы свиней – все двигалось нескончаемым потоком подальше от фашистского «нового порядка».

### **В нашем небе как дома**

И над всем этим – крестастые немецкие бомбардировщики и истребители. Им – воля. Наши тихоходных, тупорылых И-16, немецкие «мессеры» сбивали легко. Лишь беззаветная преданность Родине, храбрость, воинское мастерство и ненависть к врагу наших летчиков, часто спасало нас от расправы со стороны немецких стервятников. Обнаглели «гансы» так, что, бывало, увяжется за какой-либо понравившейся ему целью (колонной машин, стадом коров, группой советских людей и т.п.) и вьется, куражится, бьет, бьет до тех пор, пока не кончится у него горючее, не израсходует боеприпасы. И нечем его отогнать.

Будучи еще далеко от фронта, мы уже шагали по войне. Пепелища сожженных, разрушенных немецкими бомбами, строений, кровь и трупы наших людей, стоны раненых...- все это надламывало слабых, вносило растерянность, и порождало паникеров, трусов. Такие были и у нас в роте. Я до сих пор вижу их осунувшиеся лица, их бегающий взгляд, вы-

ражающий страх и неуверенность. Но, были и такие, кому это было безразлично. В их свинцовом взгляде поблескивали искорки удовлетворения происходящей трагедией. Были, были такие в нашей роте. Их лица я помню до сих пор. Ленинские идеи, свет Октября не озарили, а ослепили их. Их сердце не касалась скорбь народа, трагедия Родины. Их зачья душонка, затаившая вражду к советской власти, не имея возможности выразить ее, жаждала отмщения фашистским оружием. Окажись по ту сторону фронта – они преобразятся из овечки в волка.

Все это виделось, чувствовалось, но...- все это было недоказуемо.

Идем, идем. Нас торопят. Днем идем, ночью идем. Последнее время все больше ночью: слишком уж одолевали днем немецкие стервятники. Летали так низко, что казалось вот-вот отклонятся в сторону от дороги, по которой гонялись за нами, и, не успев подняться, врежутся в зеленую стену придорожного леса. Но нет. Не врезаются, а строчат да строчат, бомбят, да бомбят. И какие же мы были глупенькие в 41-м, боялись, более того, запрещалось стрелять по ним из винтовок. Демаскируемся же!? А ведь при таком низком полете самолета, при залпе из тысяч винтовок – немцу был бы капут. Это точно. Это подтверждено опытом войны и моим собственным опытом. А тогда, в 41-м...Ох уж этот 41-й! Ох уж мы в 41-м!

### **Письмо от брата Ефима Тихоновича Дронова**

Привал. Красноармеец Иван Сидоркин, - теле-о-опа, теле-о-опа в делах солдатских, но честности отменной,- появился в нашей роте с пачкой писем от родных и знакомых. Большинство ребят вскочили, и – к нему. Взяли его в круг.

- Осадчий! Письмо от жены. Пляши!

- Другой, третий... Пляши!

Вдруг, издалека, я увидел в его руках письмо с детства знакомым размашистым, с округленными уверенно буквами, почерком. Сразу как-то не сообразил, от кого оно, лишь почувствовал, что-то нашенское, родное. Ба! Да это же от Ефима!

- Дронову. Пляши!

А что поделаешь? И плясали, выкаблучивались...Лишь потом, после, когда стали приходиться письма, получив которые, не распляшешься, - этот ритуал сам собой отпал.

В руках у меня дорогое мне письмо. Письмо от брата Ефима Тихоновича. Оно было из Ленинграда. Там он находился на экскурсии с группой учителей Ростовской области. В это время он был директором Белокалитвенской средней школы, что на Северском Донце. Ему в числе очень немногих из нашего района удалось закончить заочно Ставро-

польский педагогический институт, а до этого, тоже заочно, Таганрогский педагогический техникум. Он был способнейшим человеком Умница! Учебе, работе отдавал всего себя. Среди нас пятерых братьев и трех сестер Дроновых, росших на одной печке в хуторе Казанская Лопатина на Дону, он выделялся умом, интеллектом и добропорядочностью.

Братушка писал мне на фронт, а я еще не дошел до него. Иду. Иду...

После кратких, но теплых родственных приветствий, он перешел к тому, чем жил, чем жила страна, Ленинград. Он восхищался Ленинградом и ленинградцами первого дня войны. Восхищался их патриотизмом, единодушием в стремлении как можно скорее попасть в действующую армию, чтобы проучить зарвавшегося врага. «Ленинградцы, - писал он, - осаждают гор-, райвоенкоматы, требуя направить их на фронт. Пробился и я к Военкому с рапортом о зачислении в команду добровольцем. Не приняли. Посоветовали, подать рапорт в свой райвоенкомат...Еду домой».

От меня, от младшего брата, он как старший по возрасту, требовал: «Будь смелым в бою. Стойко переноси все трудности, невзгоды и неурядицы. Береги себя, не лезь где не надо на рожон, но еще больше береги свою честь, честь семьи, честь Родины. Помни завет киевского князя Святослава (X век): «Или жить победителями, или умереть со славой» Помни клич Долорес Ибаррури: «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Помни! Не ищи спасения в плену. Плен у немцев – хуже смерти. Ты, наверное, помнишь капитана Еремина из Средней Лопатины. Он в Первую Германскую был в плену. Рассказывал: «Немец хуже турка. Турок зол, но имеет душу. Немец зол, и без души. Для него русский – не человек, а скотина. Они и содержали, и кормили, и заставляли работать пленных, как скотину». И еще знай: немец будет льстить, приглашать в плен – это прием известный. Не верь!.. Верь Ленину, Сталину – и все будет правильно...».

В конце письма он сделал экскурс в историю борьбы славян с немецкими захватчиками. Он писал: «Ты знай, что немца русский всегда бил. И теперь побьет. Войну против русских, против славян вообще, немец ведет не эти пять дней, не с 22-го июня, а давным-давно. Гитлер не первый, а последний их предводитель по кровавым дорогам в славянские земли. Он лишь возобновил вековой поход германцев на восток по пути рыцарского ордена. Начал эти кровавые походы немец Карл Великий еще в VIII веке(!). Вся история так называемых арийцев – это история захватнических войн. Ты не историк, но врага надо знать. Надо знать его «родословную». Покорив на западе славян на реке Лабе, а затем и в Прибалтике, все последующие 400 лет(!) они рвали кусок за кус-

ком земли славян. Помнишь кинокартину «Александр невольский»? В ней как раз и показано, как «встали люди русские» (псковичи, новгородцы, суздальцы и др.) и разгромили немецких псов-рыцарей на льду Чудского озера. Но немец вновь и вновь лез в наши земли. Тогда, в 1410 году, русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи, литовцы и другие народы, объединенными силами преподали им второй урок, разгромили их по Грюнвальдом. Били их сволочей и в 1558 году, и через 200 лет – в 1759 году. Да как били! – в Берлине, в логове, в сердце ихнем били их!

Год 1760-й они долго помнили. Фридрих II на своем горьком опыте убедился и предупреждал своих преемников об опасности вражды с русским. Даже Бисмарк это понимал. А вот Вильгельм II забыл уроки, и в 1914 году вновь двинул свои орды. Чем это кончилось, ты знаешь. Немцев разгромили. Громили их и сыны Дона. Я слышал много рассказов казаков-фронтовиков о том, как они гонялись на лихих конях за немцами. Как огня боялся немец казака. Ты ведь ничего не знаешь: маленьким был. А я помню, как в газетах того времени об этом писали. Помню даже отрывок одного стихотворения:

...Был в разведке сотник Донов.

Не в первой ему бывать.

С гиком, с криком, с казаками

Страх на немцев нагонять...

Конечно, то было другое время, не наше. Тогда сражались «за царя и Отечество». Теперь царя нет. И это хорошо. Но Отечество есть, наше, социалистическое Отечество!

И вот теперь новый фюрер немецких мракобесов гонит их снова *drang nach osten*, немецкие буржуа хотят поработить и истребить славянские народы. Не выйдет. Мы никогда не были, и никогда не будем их рабами. Немец сеет ветер, немец пожнет бурю!». Закончил он свое письмо стихотворением Федора Глинки. Приведу и окончание письма: «Закончить свое письмо я хочу любимым стихотворением твоей юности. Не забыл, как ты зубрил его в Казанской, когда учился в ШКМ:

Теперь ли нам дремать в покое,

России верные сыны?

Пойдем, сомкнемся в ратном строе,

Пойдем и в ужасах войны

Друзьям, Отечеству, народу

Отыщем славу и свободу.

(Федор Глинка, 1812).

Сто тридцать лет прошло с тех пор, а мне кажется, что оно написано 22 июня 1941 года, в наше время!

Крепко, крепко обнимаю тебя, мой родной братик. Желаю тебе

всего самого, самого доброго. Твой брат Ефим Дронов».

### Ответ: хочу

Читал я его письмо и думал: «Братушка ты мой родной! Чувствую я чем ты озабочен. Ты не уверен во мне, более того, ты боишься за меня. Ты всячески стараешься внушить мне чувство ответственности, чувство собственного достоинства, бесстрашия в бою и уверенность в нашей победе над врагом. Спасибо, спасибо тебе, дорогой мой наставник, мой воспитатель, мой брат. А выстою ли я? Этого я и сам не знаю. Хочу выстоять – это мое желание, но ведь одного его еще недостаточно. Страшна ли мне смерть? Нет, не страшна. Страшен ли мне немец? Нет, не страшен. А кто же мне страшен? Страшен мне мой страх! Немного он выдуман. Не я первый вступаю с ним в единоборство. Еще древние просветители утверждали: «Сатане дает жизнь страх». Какова же она, эта «всемогущая сила» и каков он – этот страх, я ведь еще не отведал. Боем я еще не испытан. Поэтому и ответить тебе могу лишь одним словом: хочу. Хочу выстоять, хочу быть бесстрашным, хочу быть победителем.

Часто я читал, перечитывал это письмо. Это заметили мои дружки, и стали надоедать: «Дай прочитать. Что там такого?»

Я прочитал письмо сперва Осадчему, потом у меня его взял Дурасов. И...пошло письмо по рукам. Кто читал его с интересом, с широко раскрытыми глазами с оживлением, а кто и с ухмылкой.

Дошло оно, вернее сведения о нем, до комиссара роты. Однажды он подходит ко мне и заводит такой разговор:

- Дронов, говорят, ты получил хорошее письмо из дому?
- От брата из Ленинграда, - поправляю его.
- Он, что, там работает?
- Нет. Был там 22-го.
- А сейчас где?
- Не знаю. Дома, наверное, в школе...
- В Башкирии? В Зианчуринском? (он знал, что я призван в армию из Зианчуринского овцесовхоза).
- Нет, на Дону. Он там работает директором.
- И что же он пишет?
- Воевать надо, - отвечаю я резко, отвяжись мол.
- Вот это дело, - подсаживаясь поближе ко мне и спрашивая,
- Могу я ознакомиться с этим письмом?

Вот те на, думаю. Усмотрят еще какую-нибудь контру. Брат там писал же «за царя», «за казаков» ... А эти слова в то время сами по себе были контрой.

- Да не на-а-до, - отвечаю я нерешительно, понимая, что раз уж он пришел, то от него теперь не отвяжешься.

- Пошто так? - как-то игриво, на старорусском диалекте, с башкирским акцентом спрашивает он.

- Да он думает, что я воюю... с шашкой наголо...или с пулеметом на тачанке... А я видите - с лопатой... Винтовка 3876 и та спину лишь трет. - Кстати скажу: он настойчиво требовал от красноармейцев знания по имени, как он выражался, своего оружия. Это, говорил он, воспитывает у бойца любовь через бережливость в свое оружие.

- Во-о-от оно ты о че-о-ом! - улыбаясь и, вместе с тем, с каким-то новым, серьезным выражением в лице и пристальным взглядом, воскликнул он. некоторое время молчал, а потом его как прорвало: - Не знал я... Будь уверен, я тебе обещаю...будет у тебя возможность повоевать. Тебя смущает, что ты в инженерных войсках? Да? Знай, что в этой войне наши части при наступлении идут впереди кавалерии, да и не только кавалерии. А при отступлении - последними. Так что будет повод послужить родине не только лопатой, но и гранатой...

Письмо брата он действительно зачитал на политбеседе. С этого времени у меня с ним сложились взаимоотношения по кратчайшей прямой. Я гордился этим, гордился своим братом и...собой.

**Комиссар читает нам выступление И.В. Сталина  
от 3 июня 1941 года. Слово - полководец.  
Красноармейцы о выступлении вождя**

Очередной привал. Помню я его. Всю войну помнил! Неизгладимое впечатление произвело на меня выступление по радио И.В. Сталина 3 июля 1941 года, которое нам зачитал тогда комиссар полка перед строем. Речь Сталина - яркий пример того, как человек может своим словом подчинить себе других. Починить и направить их туда, куда он считает нужным. В то время так мог сделать только Сталин. Выступление он начал оригинально, непривычно: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22-го июня - продолжается.

...Над нашей Родиной нависла серьезная опасность...»

В выступлении ясно, четко изложено все, как есть и все, что требуется делать каждому человеку страны. Заканчивается оно призывом: «Все силы народа - на разгром врага! Вперед, за нашу победу!»

Стоял я в строю, слушал, боясь пропустить хотя бы одно слово Сталина, а сам уже готов был идти туда, куда он звал: в бой! - и думал:

«С таким вождем мы не можем не победить. Мы победим». Запомнилось и до сих пор ощущается, как только подумаю о том моменте, то состояние, - напряженности в котором я был в тот час. Весь напрягся. Тянусь вверх. Кажется, вот-вот поднимусь над землею. В глотке сухость и спазм. Правая рука с силою сжимает винтовку, приставленную к ноге, как положено при стойке «смирно». Пальцы ногтями впились в наствольную планку винтовки так, что потом под ногтями образовались красные прожилки. Полусогнутые пальцы левой руки впились в ладонь. Рука от напряжения вот-вот вырвется из плеча. Шея напряжена. Лицо приподнято...Какие-то тиски сжимают грудь, сердце...Вот ведь какая сила в словах Сталина. Правду говорит народ: «Слово – воин».

После, когда немного улеглось, я подумал, почему он так начал выступление? «Начало» показалось мне каким-то приторным, заискивающим, несталинским. Может быть такое впечатление от «начала» произошло потому, что последние годы Сталин ни разу не разговаривал так с народом. А может быть потому, что время-то военное, все делается по приказу. По жесткому понуждению, а тут на тебе – Сталин и такая нежность... «Братья и сестры!.. друзья мои!». Не знаю почему, но я над этим часто задумывался и размышлял. И пришел к выводу: «Раз уж Сталин так заговорил, то обстановка значит не из легких, дело действительно этого требует. Значит так надо». Главное, что после его речи все стало на свои места. Прекратилась болтовня о преднамеренном отступлении Красной Армии с целью, мол, заманить врага в глубь страны, сжаться как стальная пружина, а затем с невиданной силой, разжимаясь, нанести смертельный удар по врагу. Повторяется, вроде бы 1812 год. Нет, не то. Сталин осудил такого рода разглагольствования и потребовал беспощадной борьбы на тех рубежах, защиту которых доверила тебе Родина.

Многие дни и ночи, десятки километров пути к фронту стали свидетелями солдатских разговоров и дум о выступлении т. Сталина. Они, как правило, сводились к одному: биться, победить врага, во что бы то ни стало. Но однажды на работе по восстановлению разбитого немецкой авиацией небольшого деревянного мостка, я невольно стал свидетелем такого разговора.

- Кто мог подумать, что с Красной армией случится такое. Глянь, сколько отдали немцу, - с печалью и недоумением заговорил не с нами, а как бы сам с собою, Осадчий.

- Иначе и не могло быть, - резко, со злобой встрял в разговор Голован.

- Лучших людей сослали в Сибирь, на лесоразработки, в лагеря, в тюрьмы. Армия обезглавлена. К войне не подготовились, играли в бутылки, в пакты да договора...

- Ты что мелешь, - возмутился Осадчий. – Что, не веришь Сталину?

- Немцы мелют. Муку да труху делают из нас, из страны...- Затем, почувствовав, что его слушают и, убедившись, что вблизи нет ни комроты, ни политрука, он, разыгрывая из себя народолюбца, продолжал: - Такой народ! Такая преданность социализму, такое трудолюбие, такое самопожертвование, а как с ним обращаются, до чего довели. Воевать нечем. Да что воевать, жрать нечего. Чем тебя сегодня кормили?

- С тобой навоюешь, наработаешь...- зло берет в руки бревно красноармеец Осадчий.

- Много не навоюем...- сказал Голован и замолчал.

Какой смысл он вложил в последние слова, трудно разгадать, а вот все то, что он сказал до этого – контра. Это мне ясно. Ясно, но не совсем. Не мог я допустить, что у людей могут быть в такое время такие мысли.

Мы с Осадчим переглянулись. Он недоуменно пожал плечами и, не сказав Головану ни слова, начал кантовать, забрасывать вперед комель сосны, а Голован, выжидая, наступил ногой на ее вершинку. А затем и он покантовал ее вперед. Так и двигались, оборвав разговор на высоких нотах.

После мы с Осадчим обсуждали этот разговор. Но что поделаешь? Не пойдешь же с доносом! Мало ли что болтают. Но мы обоюдно решили: с таким не только воевать, но и дорогу охранять и строить опасно. При первой возможности – предаст.

### **Я шел и спал!**

#### **Как важно было иметь крепкие ноги**

Один из переходов был особенно труден. Весь день моросил дождь. Дорогу развезло: грязь, лужи, под ногами скользят, ... одежда промокла, мы неизмогли. Никак не одолеем последние 6-7 километров до ночного привала. Привал был в повстречавшейся на пути церквушке. Не отдых, а мучение...Но не об этом я хочу рассказать. Потому-то о трудностях, которые вынес солдат на военных дорогах 41-42 гг., сказано – пересказано. Да и не охотник я канючить. Я хочу рассказать Вам о приключившемся со мною казусе на марше. Я, на ходу, в походной колонне, - заснул. Да, да. На ходу в строю и заснул. Спал, но шел. Сколько спал, сколько шел? Не знаю, не помню. Помню лишь, как меня крепко огрел между лопаток, шагавший в одной шеренге со мною, товарищ. Он заметил, как я пошел наискосок от строя влево, в кювет. Пошел, как он потом рассказывал, нетвердо ступая, как пьяный или как слепой. Удар, - и я проснулся. Встряхнувшись - отрезвел ото сна. И знаете, как хорошо выспался! На какой-то период даже усталость сняло.

Как важно было иметь хорошее здоровье и крепкие ноги! Я перед



войной изнежился. Как же: главный зоотехник, заместитель директора совхоза. Хоть на машине, хоть на лошадях – от крыльца конторы до крыльца фермы. И вот понадобились собственные «НО – 2», собственные силы. Трудно было. Ох, как трудно. Ведь даже отставание на марше принималось за проявление трусости. А рытье окопов, траншей... Да под огнем врага, скорей, скорей... Сколькими лошадиными силами должен был обладать человек. Откуда только брались силы!

### **Кто есть кто. Враг советской власти шагал рядом**

Чем ближе к фронту, чем чаще гибнуть наши люди от бомб и пуль немецких стервятников, чем больше встречаются на пути разрушений, эвакуируемых раненых... тем яснее и яснее высвечивается «кто есть кто». На первых порах казалось, что все красноармейцы в роте одинаковы. Да и правда, стрижены-то под одну машинку, под нулевку! Но потом стало ясно: нет, не одинаковы. Да так оно и должно было быть: народ-то собран разношерстный – льготники, нестроевики, сыновья репрессированных и пр. Эти различия начали проявляться все больше и больше.

На одной из политинформаций комиссар роты рассказал о положении на фронте. Отметил, что на дальних подступах к Ленинграду противник остановился.

Лужская оборонительная полоса, сооруженная Ленинградцами уже в ходе войны, сыграла свою роль. Наши войска стойко удерживают ее, перемалывая отборные немецкие части, рвущиеся к Ленинграду со стороны Пскова и Эстонии. Между прочим, говоря о наших задачах, он сказал, что, хотя мы и инженерные войска, но командование полка получило приказ быть в готовности к бою с прорвавшимся врагом: фронт-то близко!

Красноармеец Третьяков (человек по виду и по ухваткам из хозяйчиков) попросил разрешения задать вопрос.

- Задавайте, - разрешил комиссар.

- Это как же получается,- с возмущением спрашивает он, в мирное время, когда в Красной армии загорали, меня в армию не брали, не доверяли оружие. Теперь же, когда припекает, то и я стал нужным, и я защитник Родины... Иди, умирай?!

Наступила жуткая тишина. Мы понимали, что это не вопрос, а вызов, явно выраженное недовольство, отказ от защиты Родины. Комиссар взглянул на него, как на гада, но сдержался. Видно было, как он боролся с желанием принять решительные, жесткие меры. Поборов свое негодование, он терпеливо и обстоятельно разъяснил, что в суровую пору для

Родины, все советские люди грудью становятся на ее защиту, даже тюремщики и те просятся на фронт. Говорил он резко, но сдержанно и убедительно.

Кое-кому казалось, что вопрос, как говорится, исчерпан. Но вокруг Третьякова образовалась атмосфера отчуждения. И лишь некоторые, начали увиваться, подхваливать его за смелость и пр. и пр.

На вечернем привале Третьякова увели в штаб. Стало известно, что он арестован. Началось следствие. Несколько человек из его окружения вызывали, допрашивали. Красноармеец Голован, на которого я и Осадчий смотрели с недоверием, остался вне подозрений.

Над Третьяковым состоялся суд Военного трибунала.

Однажды слышим команду: «Выходи строиться! Смирно! Равнение на право!».

Мы увидели, как к строю приближаются незнакомые военные и комиссар полка...

...Нам зачитали приговор Военного трибунала.

Именем Родины... Врага советской власти...Третьякова... Расстрелять!

Война, обстановка в полку, требовали решительных мер. И они применялись в соответствии с законами военного времени.

### **Последняя остановка из мира в войну**

Июльские и августовские ночи в Прилужске не такие, как у нас на Дону. Донская ночь, как родная мать: и укроет, и обнимет, и убаюкает. Донская ночь бездонна ввысь и беспредельна вширь. У нас там и звезды-то не такие, как здесь: крупнее, ярче, кажутся теплыми и не такими далекими. А вода донская теплая, светлая, мягкая. Нырнешь с открытыми глазами и любишься тем, какая жизнь в воде и под водой...

Лежим, бывало, с братом Ефимом на арбе, по грядушки заваленной сухой травой, у хлебной делянки, той, что в придонье за буераком Бударным, у озер, -работали мы тогда вскладчину с Мельниковыми (пара ихних быков, пара наших), - вперив свой взгляд в мириады звезд, - и беседуем (Наташа Мельникова домой ушла, а мы, мужчины, остались). Вернее, я слушаю, а он рассказывает. Рассказывает разные были и небылицы. То былины русские, и, конечно, донские, то про чертей, сатану и всякую прочую нечистую силу, то про Бога. Про то, что ничего этого нет и не было, что всю эту нечисть люди сами на свою беду выдумали...И о том, почему наш Дон называется не просто Доном, а не иначе, как Дон - Иванычем, «вольным». «Тихим Доном». И о том, как лучшие сыны Дона бились с врагами Родины. Бились и побеждали. Вместе со всем русским

народом изгоняли из страны и немцев-крестоносцев, и турок-Янычар, и японцев-самураев, и всяких других захватчиков. Биться-то бились, побеждать-то побеждали, свой родной Дон славили, но, добывая эту славу, ложились костями своими, теряли свои «буйные головушки» на беспредельных рубежах земли русской. Богат Дон-Иванович славою, да вдовами, да сиротами. А однажды повел разговор о годах, минувших недавно, о годах революции и гражданской войны. Видно было, что трудно дается это ему, ибо, как я понял после, трудно было ему рассказывать о том, как донские казаки, некогда бесстрашно громившие царские рати в революцию в 1919 году, - позорно изменили своему народу, стали на сторону защиты царя и буржуазии. Из этого я многого не понимал, но слушал, слушая, впитывал в себя все, что он говорил, чтобы потом, повзрослев, разобраться, переварить в своем сознании.

Итак, я слушаю, а он говорит, говорит. Я засыпаю, а он, наверное, все говорит...

А что творилось на земле! Какая музыка слышалась кругом! Там кузнечики, там птицы...деревья, травы - все звучало. Заслушаешься! Заслушаешься и - заснешь.

Утро. Брат ушел за быками. Наташка еще не пришла из дому. Я радуюсь первым лучам солнца. С усмешкой вспоминаю, как боялся ночью, когда братуха ушел подваривать быков (они, дьяволы, все куда-то уходили в потраву). Как я в ночной темноте боролся со страхом, особенно когда что-то грызло чего-то под арбой! Боже! Сколько страха я пережил, пока Ефим пришел... И все-таки пережил, переборол свой детский страх. А теперь, при солнышке, рад этому - победил же!

Теперь утро. Есть ли на земле время лучшее, чем раннее утро в придонской полынно-чабрецовой степи! Первые солнечные лучи, коснувшись росистой травы, звездятся в мириадах капель, наполняя их своим светом, как будто поджигая их ...Из синего, синего неба, вместе с лучами солнца на меня льется песня жаворонка. Вот и он сам, своей персональной. Он словно обращается ко мне: «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно приятным светом на листе затрепетало». Он трепетным комочком бьется в воздухе, кажется, изо всех сил рвется вверх, но его что-то тянет, тянет вниз, к земле, и он, опускаясь, ныряет в траву. Попробуй, найди его. Ни разу не удалось мне отыскать его...

Не такие ночи на Луге. Даже звезды, и те не такие. Они здесь какие-то синие, мелкие, далекие ...И небо, и земля, и вода, и лес - все не такое. Дожди и те не такие, как у нас. А какие здесь комары! Это же истязатели, кровопийцы! Из-за них ни полежать спокойно, ни похлебать суп из котелка, не спеша. Как живут тут люди? Живут, да еще и хвалят красоту этих мест.

Да и так ли прекрасна земля донская, что и равной ей в мире нет? Может быть, и есть. Да и действительно есть земли прекраснее нашей донской земли. Но нет земли, лесов и рек таких, как у нас на Дону. Это уж точно. Даже такого ветерка, как у нас на Дону: ароматного, с полынной и чабрецовой горечью... - нет нигде такого... Тутошный - болотом отдает.

Может быть, это лишь у меня столь обостренное чувство к родному краю. Может быть, это одна из особенностей моего детства, влияние брата? Ведь это от него я впервые услышал все то, с чем связано понятие о родине. От него я узнал Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Есенина и др. Как он любил Есенина! На Есенине он был «помешан». Почти всего знал наизусть. Часто декламировал:

О, Русь, - малиновое поле  
И синь, упавшая в реку, -  
Люблю до радости, до боли  
Твою озерную тоску...  
Спит ковыль. Равнина дорогая  
И свинцовой свежести полынь.  
Никакая родина другая  
Не воьет мне в грудь мою теплынь...

Да, и влияние брата, и поэзия, и проза - все это у меня в детстве было, но не один же я такой. История сохранила тысячи примеров того, как человек любил тот уголок, где он вырос. Ибо он не может ни понять, ни оценить себя, оторвавшись от своего народа, быта и обычаев, и особенностей среды, в которой он формировал свое сознание, учился понимать мир.

Недаром же народ создал поговорку: «Своя сторона по шерстке гладит, чужая - насупротив». Или возьмем поговорку про наш же Дон, когда он был для человека не родиной, а лишь убежищем, например, для беглых крестьян: «Хорошо на Дону, а не так, как на дому», - говорили они. Выходит, не Дон, а дом, дом детства, юности - вот, что роднее и желаннее всего.

Горцы (кабардинцы) так прямо и говорят:

Хороша земля, где ты кормился,  
Да не лучше той, где ты родился.

*(Пословицы, поговорки Адыгей)*

Но ведь и о здешних местах, о исконно русской земле, о ночах белых, о лесах могучих, о людях неимоверной силы, доброты и отваги, говорят не с меньшей любовью, былины сказывают.

Да и впрямь, как было не любить, не славить эти земли, когда здесь сражались легендарные дружины Александра Невского, полки Петра

Первого и «птенцов гнезда Петрова», первые полки Красной армии...

Выходит, что Родина – это не только клочок земли, где я родился, но и та земля, где родились мои товарищи по оружию, где мы вместе мужали, трудом своим строили новую жизнь, новое общество.

И вот снова, - в который раз! – нашей Родине угрожает все тот же немец, и снова, как и в былые времена, наш народ вынужден отстаивать свою землю, свою свободу от посягательства все тех же немцев, ныне лишь одевших фашистскую мышинного цвета шкуру с черной свастикой.

Так, нанизывая одну мысль за другой, перескакивая от одного к другому, рассуждал я сам с собою, в ночной час затишья на еловых ветках у Луги.

Так в единую цепь соединялись звенья воспоминаний о прошлом и дум о настоящем, двуединых чувств: мира и войны. Так, потом, все годы войны меня не покидали эти два чувства: тревога за свою судьбу, судьбу родных, судьбу Родины и привязанность всеми фибрами души к мирному времени, к семье, особенно к детям, к дому. Картины того времени часто высвечивались, то одной, то другой гранью. Много этих граней было мрачных, тяжелых, но больше – светлых, радостных, зовущих туда, в мир через войну.

Вы спросите, зачем это ты художничаешь. Не то. Это – попытка показать Вам те источники моей (?) к Родине, стойкости и непоколебимости моей.

.....  
**Из истории Великой Отечественной войны.**

*«К 10 июля войска группы армии «Север» имели превосходство над советскими войсками Северо-Западного фронта: по пехоте – в 2,4, орудиям – в 4, минометам – в 5,8, танкам – в 1,2, самолетам – в 9,8 раза» (БСЭ, с. 924).*

*«Группа армии «Север» составляла четвертую часть всей германской армии. В ее составе было свыше трехсот тысяч солдат, 6 тысяч орудий, 5 тысяч минометов, 1000 танков, 1000 самолетов» (Зерцалов В.И. Луга. Л.1972. С.95).*

*«Впереди группировки двигалась стальная лавина 4-й танковой армии ...  
...13.VIII.41 года танковая армия переправилась через р. Плюссу (?), стала приближаться к Луге...*

*...В начале августа, устлав свой путь...гитлеровцы в ряде участков стали приближаться к городу...*

*...5.VIII они неожиданно нанесли удар у совхоза «Солнцев Берег», а на 17-м километре шоссеиной дороги прорвали линию обороны, угрожая захватить Лугу...*

*...8.VIII прибыл 8-й авиакорпус пикирующих бомбардировщиков под командованием генерал-полковника Рихтгофена...» (там же).*

.....

Под Лугой, Новгородом, Нарвой, то есть на дальних подступах, во многом решалась судьба Ленинграда.

Наши части (24-я танковая дивизия, 177 с.д. и др.) мужественно отбивали натиск врага под Лугой. На политбеседе комиссар приводил такие данные: в начале июля месяца немцы наступали со скоростью 26 километров в сутки, в конце – только 7, в августе – 4. «Но, ведь и 7, и 4 – это тоже километры нашей Родины!» - восклицал он.

Он приводил примеры ратных подвигов отдельных воинов, целых подразделений и частей Красной армии. Так дивизион капитана Синявского, говорил он, в этих боях уничтожил 37 фашистских танков, а наводчик Ибрагимов – 11 танков. Мужественно сражался полк 177 стрелковой дивизии, подразделения 24-й танковой дивизии и др.

Свой путь по нашей земле фашисты устилали костями своих солдат, обгорелыми остовами своих танков, самолетов и др. оружия.

Все это вселяло уверенность в нашей победе над врагом.

На лужском этапе обороны наши войска, почти месяц, изо дня в день, из ночи в ночь перемалывали отборные части немцев.

Наш 86 ДЭП прибыл сюда, точнее, в район Толмачево, в конце июля. Толмачево – последняя станция по железной дороге Ленинград – Луга и далее на запад. Это была наша последняя остановка на пути из мира, растревоженного войной – в войну, к ее переднему краю. Здесь началось мое непосредственное участие в войне. Здесь началось выполнение боевых заданий по строительству и восстановлению военных объектов, в самой близости к переднему краю.

**Немец разобьет, мы восстанавливаем.  
Мы восстановим - немец разбивает.  
Небо снова в крестастых «стервятниках»**

Расскажу об одном боевом задании, самом прозаическом, «мирном». В течение нескольких дней наша рота имела задачу обеспечить бесперебойное продвижение машин, боевой техники и людского пополнения фронта, на закрепленном за нами прифронтовом участке дороги. Все, что мешало бесперебойному движению, - разбит ли мост, испорчено ли воронками от бомб полотно дороги, перевернута ли машина и т.д., - все должно быть немедленно нами исправлено, и движение по дороге восстановлено. Нам думалось: «Что может быть проще, безопаснее и легче, чем служба в дорожных частях?» Но потом...потом мы убедились, что это не так просто, и не так безопасно и не так легко, как нам казалось.

Немец понимал значение этого участка фронтовой дороги для наших войск и делал все, чтобы разрушить его, нарушить, а то и прервать движение по нему. Он бил из орудий крупного калибра, бомбил, обстреливал с самолета. Немец разобьет – мы восстанавливаем. Мы восстановим – немец разбивает. Было и так: немей бьет, а мы восстанавливаем, потому, что нельзя же допустить, чтобы колонны машин стояли неподвижной мишенью под огнем врага. И так день за днем, ночь за ночью. Особенно трудно нам было в ясные дни, когда немец звено за звеном посылал на нас самолеты.

Я тогда еще не знал о размерах наших потерь на переднем крае: не довелось мне еще побывать там, а вот о потерях здесь, на подходе к переднему краю, узнал, увидел, как говорится, почувствовал своей шкурой. Потери наши были огромны.

«Во-оз-ду-у-ух!» - подается, и сотнями голосов дублируется сигнал воздушной тревоги. В небе, на большой высоте плавает, как одинокий коршун, немецкий двухфюзеляжный самолет-разведчик «фоке-вульф». Надо соблюдать маскировку, подготовиться к налету авиации или к обстрелу из дальнобойных пушек.

«Теперь жди гостей», - поговаривают между собою красноармейцы-дорожники. «Жди гостей» означало, что надо как можно энергичнее, быстрее закончить работы по ремонту моста и полотна дороги. Они повреждены только что закончившимся обстрелом. Мы спешим: не восстановив проезд по мосту, не сможем покинуть свое место, т.е., не сможем уйти в укрытие, даже под огнем врага.

«Жди гостей» означало также, что артобстрел будет корректироваться, что бомбардировщики будут наведены на цель этим «горбылем» или «рамой» как по-разному мы называли этот самолет. Поговаривали, что он снабжен такими оптическими приборами, с помощью которых враг видит у нас все, как на ладони, и, что он имеет такой потолок полета, что его не достигают ни наши истребители, ни даже, зенитные снаряды, что это не самолет, а материализованное зло, что оно не имеет средств разрушения, что хорошо, но наделено сатанинским обзором да ненавистью ко всему доброму, советскому. Но и этим не надо бы его наделять.

«Смотри, смотри, летят», - изменившимся голосом с тревогой, охватившей всего его, запрокинув голову вверх лицом, свободной от пилы левой рукой, показывает на появившиеся в небе самолеты, мой напарник Леонид Дурасов. С северо-запада на северо-восток высоко в небе плывут девять «юнкерсов».

«На Ленинград», - комментирую я, не прекращая тягать туда-сюда широченную поперечную пилу, с большим усилием нажимая, когда тя-

ну ее на себя. И тут вообразим, Ленинград...Петродворец...Кировский завод, мирные жители, дети!!! – Да неужели же на все это упадут бомбы, смерть?! Неужели их допустят до Ленинграда? Этого тогда я и в мыслях допустить не мог.

«Идут, как павы», - с раздражением говорит Петр Осадчий. «Где же наши «ястребки»?» - пристально всматриваясь в восточную часть небосклона, спрашивает сам себя Дурасов, тоже усиливая нажим на пилу и то и дело, смахивая с лица пот, протирая рукавом глаза и лицо: спешит пилить и, вместе с тем, горит желанием увидеть «ястребков». И тут, в момент, когда сосна разломилась, он воскликнул: «О! Во-о-он, смотри!». Я сначала даже не понял, о чем он, о сосне, лихо распиленной нами, или о чем-то другом. И лишь глянув, вслед за движением его руки, в небо, увидел там самолеты. Из-за леса по небосклону, как на гору, медленно всплывают два звена наших истребителей И-16. Мне показалось, что они не летят, а ползут, взбираясь на трудную для них высоту: настолько медленно они набирали ее, настолько тихоходны они были. А хотелось, ведь обстановка требовала, чтобы они как можно быстрее «сели» на «юнкерсов» и свалили бы их в болото. Пусть немцы там, в болоте, - вместе с той смертью, которой было начинено брюхо их крестастых бомбовозов, - нашли бы свою смерть, свое «жизненное пространство».

«Вот сейчас «гансы» драпанут», - высказывает свое затаенное желание Леня. «Мессеры! Три, четыре...шесть...девять! Вот, сволочи!» - с надрывом в голосе, с ненавистью к ним показывает Осадчий на появившихся высоко, высоко в небе немецких истребителей «мессершмиттов». А они, как стальные дьяволы, звенят, именно, звенят, а не идут, натужно моторами, оставляя за собой едва заметный след, вьются в нашем небе, разыскивая там наших «ястребков» и другие цели. Нашли, увидели. Быстро взбираются еще выше, стараясь сверху расстрелять наши самолеты. К великому сожалению это им удается. Они уже открыли огонь, опередив наших, расчищая дорогу в небе своим «юнкерсам».

Снизу кажется, что «мессеры» поднялись в небо лишь за тем, чтобы искупаться в небесной лазури в лучах солнца, похвастать беспримерной скоростью полета, совершенством своих форм и – своей наглостью. Уж чего чего, а наглости у «гансов», - особенно, когда они чувствуют свою силу, свое превосходство в технике, в оружии, - предостаточно. Так бы и съездил его по морде, да не достать.

«Какой порядок! Красиво, изящно!» - восхищается немцами красноармеец Голован. Он прекратил работу, задрал свою жирную вывеску к небу, и сияет от удовольствия. «Было б ихних шесть, а наших восемнадцать – вот тогда хотелось бы посмотреть на их «красоту», на их «изящество» и на тебя вместе с ними», - с нескрываемой ненавистью и к



немцам, и к Головану, цедит сквозь зубы Осадчий. «Даже зенитки наши молчат. Что шестерка может сделать против такой армады?»

И тут, как по его команде, истоиво застучали в лесу наши зенитные батареи. В небе, больше все сзади и выше «юнкерсов», рвутся зенитные снаряды, оставляя там белесые мелкие дымки. Уже испятнан большой участок неба, но ни один снаряд, ни один осколок не нашел в небе того, за чем был послан. Почему разрывы все не к месту да не в цель – спросить бы у зенитчиков, за что они хлеб фронтовой едят то! Истребители ведут воздушный бой. А тем временем от строя бомбардировщиков отделяется тройка, ложится один за другим на крыло и от солнца заходят от нас: точно, как позавчера. Но сегодня мы не думали быть под бомбежкой, думали «пронесет». Ан нет.

- Так они же идут на нас! - кричит Дурасов.

- Вижу, - отвечаю я. – А что поделаешь?

- В укрытие! - командует взводный.

Бросаемся в ровики: земля – единственное наше укрытие. И...началось! Началось-то быстро, а вот окончилось ... Какими долгими и кошмарными были эти минуты!

Первый «Юнкерс» сбросил бомбы невдалеке от нас. Там были огневые позиции нашей крупнокалиберной артиллерии. Там взрывы. Там что-то горит. Затем снова взрывы, но более частые и менее сильные. То, очевидно, взрывались снаряды на огневой позиции батареи, попавшей под бомбежку.

Второй пикирует ближе. Третий – «наш»! Его бомбы разорвались рядом с нами, в траншеях первого взвода.

Столбы земли, дыма взметнулись вверх. Земля как-будто бы сдвинулась в одну сторону, а потом заходила туда-сюда. Красноармейцы первого взвода частью остались на месте, а некоторые вскочили и бросились в лес. Крик, гам... Команда: «Назад! Ложись!». Ну, думаю, нас не задело, пронеслась и на этот раз беда мимо.

Глянул в небо, а там, примерно в том же месте, где только что была первая тройка, ложатся на крыло, заходят на нас еще три «юнкерса». Вот эти действительно «наши»!

Внутри у меня все сжалось. Страх, независимо от моего сознания, сделает свое подлое дело. Дрожь, откуда-то изнутри, бьет меня, как при ознобе. Руки хватают все, что надо и не надо. Ноги подламываются. «Во-о-от како-о-ой ты вояка», - думаю я сам про себя. И ничего не могу с собой поделать. А тут еще наваливается нарастающий гул и вой самолетов, протяжный, проникающий во все косточки зловеший свист падающих бомб, оглушительный, громовой раскат взрывов, наступившая темнота, противный запах тротила, сторевшей взрывчатки, вопли ране-

ных...- все это подействовало настолько потрясающе, настолько угнетающе, что я становлюсь, как говорится, сам не свой. В просвете дыма и пыли увидел, как из чрева другого бомбовоза, устремились вниз еще черные обрубки (бомбы) и летят не куда-то, не на кого-то, а прямо на меня.

«Вот это «мои», - успел я подумать. И тут же мелькнула мысль: «Домой письмо-то не написал...Братушке не ответил...Посмотрели бы вы, как я воюю: меня немец бьет, а я его ничем не могу достать...» Взрыв! Первая из «моих» бомб упала почему-то не на меня, а метрах в пятидесяти – шестидесяти. Вторая же и третья – не знаю где. Где-то рядом. Земля дрожит, больше чем дрожит, от схлестнувшихся разрывных волн она прямо-таки ходит ходуном. Земля тут рыхлая, какая-то некрепкая, легкоподвижная. Взрывные волны с болью ударили мне в уши. Их как будто чем-то заткнуло. Почти ничего не слышу и не вижу. В глазах резь, во рту земля. И когда только я успел наглотаться ею. Зачем раскрывал рот? Голова разбухла, сделалась какой-то чужой, заполненной какой-то густой дрянью ... Но при всем при этом, организм живет, цепляется за спасительные нити: «На дно ровика, - говорю себе, - не вздумай упасть: засыплет!»

Так и сидел я на ногах, согнутых в коленях, пригнув сколь можно ближе к ним голову. При каждом обвале стенок (хотя я обвала не замечал) инстинктивно, как червь, выбирался на свет Божий. А где он, этот свет? Солнца не видно. Дым, гарь, смрад укрыли нас своим противным пологом. Они скрыли нас от солнца, от неба, от воздуха, от развернувшейся над нами трагедии воздушного боя. Нам, правда, в эти минуты было не до них. У самих трагедия. Но ведь там идет бой за нас, за жизнь сотен людей. Там наши соколы, истекая кровью, насмерть бьются с немецкими стервятниками. Как они там? Вместе со здоровой мыслью приходит и оздоровление чувств, освобождение от страха. Думаю, чего зря дрожать-то. Надо кончать эти «нежности». Летчики вон как бьются!

Ветер относит в сторону черную мглу. Смотрю вверх, хочу понять, что там? Перед глазами вырисовывается картина мрачная: наших соколов осталось только четверо. «Мессеров» же по-прежнему девять. А с юго-востока наплывают на нас еще три «Юнкерса». Эти, думаю, отбомбились где-то в нашем тылу. Ан нет, не отбомбились. Может их обратили в бегство наши зенитки? И теперь они сбрасывают бомбы на знакомую им цель. Как бы там ни было, они заходят тоже на бомбежку дороги и моста, а за одно и нас. Но теперь уже с другой точки в небе и направляются вдоль полосы дороги. Бомбы сыплются вниз.

Они рвутся то по ту, то по эту сторону дороги, настигая там убегающих от бомбежки шоферов и других вояк. Несколько штук упало на

машины. Одна угодили возле правого угла моста...

Кажется, закончилось. Последняя тройка навредила больше первых двух. Разбито несколько машин, разворочен угол моста. Много погибло и ранено шоферов и «пассажиров».

«Смотри, смотри, наш горит», - хрипит сосед рядом, выкарабкавшись из полузаваленного ровика. Он стоит на широко расставленных ногах (как матрос на палубе корабля), стараясь приобрести устойчивость (очевидно, контужен), и каской показывает мне на камнем летящего вниз в дыму и пламени наш И-16.

«А во-о-он дым, - там тоже наш упал!»

Один из наших «ястребков» свалился на уходящего «Юнкерса» откуда-то сверху. Вспышка. И видим, как «Юнкерс» задымил. Он как будто споткнулся, замедлил ход, и стал скачкообразно снижаться, попросту сказать, падать.

«Ага, пропороли тебя», - обращаясь в сторону «Юнкерса» радуется Осадчий.

«Юнкерс» тем временем тянет на северо-запад, в Эстонию, к своим. Но далеко не ушел, едва перелетев передний край, он с высоты «двух дубов» пошел в штопор и камнем рухнул вниз. Вспышка огня. Дым. И через несколько секунд - глухой, но мощный звук взрыва.

«Так тебе и надо, подлюга», - злорадствует Осадчий. «Вот это да! Смотрите!.. Ах, сволочь, сейчас упадет! - восклицает Дурасов, наблюдая за поединком нашего сокола с «мессером». Нам показалось, а может, так оно и было, что наш летчик вел самолет на таран. Ганс не пошел лоб в лоб, уклонился, но наш успел вклепить в него сноп огня и металла. «Мессер», отстреливаясь, взмыл вверх, но задымил и потянул через передний край восвояси. Ушел, сволочь! Но винты ему наш сокол, видимо, хорошо помял.

В воздухе злорадствуют «мессера». Они, как собачья стая на псовой охоте, мотаются, выискивают новую жертву. Мне кажется, что они теперь лишь хвастаются, ибо в небе им делать больше нечего. Как же, сегодня они победили.

«Не век вам побеждать, - думаю я. - Будет в небе и для наших летчиков праздник, будет и у наших соколов голубая дорога побед. Будет. Обязательно будет. Иначе нельзя!»

«По местам!» - передается приказ командира роты. Наш командир взвода лейтенант Сидорчук жив и выглядит довольно-таки прилично (не так как я и мои товарищи). Он быстро собрал взвод и повел на те же места, где мы только что перед бомбежкой закончили работы. Там снова дел непочатый край. Машин скопилось около дороги, особенно там, в лесу, видимо-невидимо, и они все прибывают и прибывают, пристраи-

ваясь в хвост потрепанной колонны. Нужен путь. Всем хочется быстрее перескочить это проклятое место.

Мы, с не прошедшей еще слабостью, грязные, измятые, занимаем всяк свое место. Много мест осталось не занятыми. В роте четверо погибли от прямого попадания бомбы, пять – шесть красноармейцев и один командир тяжело ранены или контужены. Возле них «бабчат» фельдшер, санитар и несколько красноармейцев, выделенных командиром роты в помощь медикам. Более десяти человек ранены легко. Они, после перевязки, направлены в медпункт. Многие легко раненые и ушибленные остались в строю. Остался в строю и Петр Осадчий. У него правая щека грязная, опухшая, красно-синяя с ободком подтека.

- Чем это тебя угораздило? – громко, как у глухого (потому, видно, что и у самого слух еще не восстановился), спрашиваю я у Петра, когда мы поднимаемся на мост.

- Котелком, - не говорит, как люди, а зло хрипит Осадчий.

- Как котелком? – удивляюсь я.

- Да так.

И замолчал. Видно, не до разговора ему. Умолк и я. Потом, успокоившись и вновь приобретя способность нормально говорить, он, с присущим ему чувством юмора, рассказывал: «Перед этой катавасией прыгнул я в ровик, а растреклятый котелок мешал мне (он у меня был прицеплен к поясному ремню). Я его отцепил и поставил на бруствер. Когда бомба трахнула и взрыв поднял землю, я с перепугу хотел выскочить и отбежать во-он туда к лесу. Но тут, в какой-то миг перед самыми глазами увидел, что на меня, вместе с землей летит что-то блестящее, да такое большое-пребольшое. Показалось мне, что это крыло самолета... И ка-а-ак хрястнет меня по скуле. Искры из глаз посыпались. Ну, думаю, голова на бок. Пощупал, голова на месте. О колени что-то легкое стукнулось (ноги были землей засыпаны). Посмотрел, а это вот этот самый товарищ-котелок. Это он-то меня и огрел. Надо же, не осколком, даже не глыбой земли, а котелком чуть-чуть не уложило бойца на госпитальную койку».

Вышел и Голован. Куда делась его выправка, картинность и надменность? Как курица, ястребом оципанная! Едва ноги волочит. Бледен, измят, зареван. Лицо измазано... Так и подмывало меня спросить у него: «Ну, как, «порядок, изящно, красиво?» Но его потерянный вид не позволил мне поиронизировать над ним. Я лишь подумал: всего полчаса назад человек либо разыгрывал из себя картинного героя, восхищающегося силой и порядочностью противника (это обычное дело у сильных, под которых он рядился), либо действительно высказывал то, что у него на душе: рабское преклонение перед силой немцев, готов-

ность служить им. И то, и другое не делают ему чести, особенно второе. Но что «его», какое «либо» действительно внутренне присуще ему? Кто подскажет?

Командир взвода лейтенант Сидорчук приказывает нашему отделению исправить настил на мосту. Времени – час. А другим – другие лапти латать на дороге. Приказ есть приказ. Теперь надо «вкалывать», не обращая внимания на дискомфорт во всем теле и в голове. Одни тащат бревна, другие – заравнивают воронки на дороге или делают объезды мимо них: что быстрее, третьи, вместе с шоферами и прочим людом расталкивают машины в пробках, в аварийных местах. Наше отделение на – мосту. Красноармеец Голован с другими красноармейцами подносят к нам на мост бревна и доски. Красноармеец Дурасов – скобы, штыри и проволоку. Я и Петр Осадчий – плотничаем: протесываем, подгоняем поплотнее бревна, скрепляем их, а затем перпендикулярно их укладываем и укрепляем колею для машин из досок. Внизу, под нами, тем временем укрепляют столбы. Работа кипит. Да и как ей не кипеть, когда немец либо бомбами, либо снарядами вот-вот поддаст жару.

Готово. Зеленый флажок регулировщика взмыл вверх и затем, направлен горизонтально: «Путь открыт. Можно продвигаться». Все, что стояло, тронулось. Одни на запад – в пекло боя, другие на восток – в тыл.

Мы тоже – готовы. Готовы в том смысле, что готовы от усталости упасть и не вставать хотя бы час, другой.

Ночь Тучи подсвечиваются светом выстрелов, разрывов и осветительных ракет. Невдалеке от нас ка-а-к саданут два осколочных. Это немец взводом пушек бил по дороге, но не попал. И замолчал. Но вот снова: «Трах! Трах! Трах! Трах! – почти одновременно гремят взрывы: стреляет немецкая батарея. Один снаряд упал на южную обочину дороги и разбил две автомашины, в том числе и машину с красным крестом. В ней медсестра сопровождала в госпиталь тяжелораненого командира (майора) и трех красноармейцев. Живым остался лишь один красноармеец. Другой снаряд упал почти на середине дороги метрах в 30-ти сзади первого, метрах в 15-ти впереди шедшей к переднему краю машины с боеприпасами. Шофер убит. Передняя часть машины исковеркана (почему не загорелась?). Кузов, его левая сторона, в трех местах пробит, доски расколоты, один клин из доски вырван, а ящики со снарядами, – как ни в чем ни бывало, – целы и невредимы.

На дороге затор, а батарея фрицев усилила огонь. Комвзвода дает нам новый приказ: «Ликвидировать «пробку» на дороге в зоне обстрела». Сам он вместе с нами, тоже бросается вперед, опережает нас. Отдает приказы шоферам и другим военным, которые в звании ниже его. Мы – за ним. Не побежал бы, да субординация не позволяет. Да и дело не

терпит. На одну машину переносим раненого и вместе с нашим командиром отделения, только что раненым в плечо и руку осколком снаряда, быстро отправляем на восток. На другую – убитых. С помощью машины «ЗИС» оттягиваем поврежденную машину на обочину дороги. Затем подогнали «ЗИС» к машине со снарядами, поставили борт к борту и перегружаем ящики со снарядами на «ЗИС», а разбитую машину перевернули под откос. Быстро все делалось. И откуда только силы брались? Брали мы их, очевидно, из военных источников: приказ, нужды фронта, опасность.

К счастью, вскорости немецкую батарею уничтожили или подавили наши артиллеристы. Замолчала, подавилась, как сказал Дурасов.

Тогда, там, я впервые за все месяцы совместной службы, в том числе за эту неделю в прифронтовой полосе, увидел своего комвзвода лейтенанта Сидорчука таким, каким он был в действительности: боевым, смелым, решительным, жестким. Он сумел подчинить себе всех, с кем сталкивала его боевая обстановка. Там я подумал: «Что породило или выявило у него эти качества? Ведь доселе оних как-то не выказывал». Подумал и понял: боевая обстановка, воинское звание, чувство долга, ответственность. Вот они слагаемые подвига.

Многих мы потеряли в эти дни. Потери были и прежде, но меньшие. Бомбежки были и ранее (даже здесь же, два дня тому назад, нас тоже бомбили, но как-то вразброс, невпопад, три бомбовоза), но такой интенсивности – впервые. Артобстрелы были и раньше, но такой силы, да еще ночью – тоже впервые. Привыкли мы уже к своим потерям: война же! Но вот к потерям в авиации...страшное дело! Тяжело было смотреть, как наши отважные соколы горели в воздухе над нами и на земле рядом с нами. И ничем не могли мы им помочь.

Почему я так переживал за летчиков? Трудно объяснить. Не в последнюю очередь, наверное, и потому что каждый самолет, летчик, очень уж дороги для армии. Ведь летчик сам по себе, лучший воин страны и, что «стоил» он по моим рассуждениям не менее роты таких вояк, как мы, что каждый из них мог бы нанести огромный урон врагу, мог бы защитить сотни людей от немецких стервятников, а многих спасти – от смерти.

Почему же им было так трудно в бою? Да потому, что летали они на плохих самолетах. Куда нашим И-16 до немецких «мессеров»! И если и на И-16 наши соколы дрались и часто обращали «мессеров» в бегство, сжигали, били в лоб, то это, прежде всего, результат беспредельной преданности наших соколов своей Родине, невероятной ненависти к врагу, воинскому, летному мастерству и готовности к самопожертвованию.

Вот самолет «ПО – 2», прозванный на фронте «кукурузником» –

дело другое. По моей оценке, равных ему у немцев не было.

Стоишь, бывало, на посту и слышишь, как что-то шумит, слегка гудит, «пыркает» над головой. Посмотришь вверх и видишь, что это он, «кукурузник», летит через передний край, «гостинцы» немцам везет. Кое-когда удавалось видеть и слышать, как он там, за передним краем, раздавал их. На переднем крае и в тылу у немцев – переполох, взрывы, стучат зенитки. Рыскают по небу длиннющие снопы света от прожекторов...Ищут, ищут, но ничего не находят там, вверху. А «ПО – 2», спокойненько летит домой. Летит низко, низко, и сядет где-то в «кукурузу».

Нас особенно удивляло, прямо-таки интриговало то, что, как нам говорили, пилотами и штурманами на них были женщины. Вот тебе и «слабый» пол. «А мы, - с иронией думаю о себе и о своих товарищах, - «сильный» пол, а им, бабам, и в подметки не годимся. Пол-то может и сильный, а вояки – никудышные. Это факт».

Мне, как вы, наверное, заметили, часто вспоминаются боевые эпизоды нашей авиации, наши красноармейские рассуждения и многое другое, связанное с авиацией. Эти воспоминание, развязывание узелочков, затянутых тогда, связаны с тем, что, во-первых, самолеты всю войну висели над нами. В 1941-1942 гг. – все больше немецкие. В 1943-1945 гг. – в подавляющем числе случаев, наши, новые, более совершенные, успешно громившие немцев, надежно охранявшие небо над нами.

А во-вторых, с тем, что с авиацией у меня связано большое личное горе. Дело в том, что в 1936 году в Ставропольском зоотехническом институте объявили набор желающих пойти на учебу в летное училище. С нашего третьего курса нас, желающих, оказалось двенадцать человек. Взяли лишь четверых. Друга моего Петьку Рессера взяли, а меня нет. Комсорга курса – и не взяли! Как так, почему! Сколько переживаний, сколько горечи!

Пришлось идти в осоавиахимовскую кавалерийскую школу и там утолять жажду службы. Но там что, разве то, что в авиации! Скакали, рубили лозу шашками, преодолевали препятствия...Все это знакомо мне с детства. Вот в авиацию бы!..

.....  
**Из истории боев за город Лугу.**

*В последней декаде июля ценой больших потерь немец вышел к Луге. Здесь он вынужден был перейти к обороне. Однако, севернее и южнее Луги его наступление развивалось... 16 августа немец зажал Кингисеп на севере, а 19-го – Новгород, 20-го – Чудово на юго-востоке от Луги. Луга не сдавалась.*

.....  
Начало августа 1941 года. Немец предпринимает одну за другой попытки обойти Лугу. Не отказывается он и от лобовых атак на Лугу. Местами врагу удалось вклиниться в нашу оборону. Красная армия под

Лугой держит оборону стойко. Наши контратакуют. В некоторых из них пришлось участвовать и мне. Попробую рассказать о первой.

Поздно ночью мы после работы приплелись (иначе не скажешь) в расположение полевой кухни на ужин. Тут – благодать. Место сухое, спокойное. Снаряды сюда залетают редко: либо перелет, либо недолет (спотыкаются о сплошную стену высоких деревьев на косогоре и рвутся). Ужин. Сон сильнее голода. Упасть бы и заснуть. Скорее, скорее добраться до места привала. Спать. Спать. О бессоннице я тогда и понятия не имел. Даже под артобстрелом иногда спал.

Сквозь сон слышу негромкую, но властную команду: «Боевая тревога! Боевая тревога!». Как встать? Слышу и сплю. Но это продолжается секунды не более. Я слышу команду, очевидно так, как мать слышит плачь ребенка. Спит и слышит. И если надо – сон у не как рукой снимает. Так и у меня. Надо! Вскакиваю. Невидящими глазами заамуничиваюсь. Благо, что все на мне, все под рукой. Ботинки и обмотки на ногах, а это самая трудоемкая операция. Сразу почувствовал: в роте какой-то переполох. Взбудоражен и передний край. На юго-западе сплошной гул и всполохи огня. «Выходи строиться!»

Это мы умеем. «А вот куда?! – спрашиваем друг у друга. Но кто знает? А кто знает – не скажет. Идем в расположение тыла полка. «Добро, - думаю, - отдохнем». Но здесь не до отдыха. Обстановка как в потревоженном улье. Нам выдают дополнительно комплект патронов, гранат, бутылку с противотанковой горючей жидкостью, штык, сухой паек «НЗ» и пр.

«Вот это отдых! Так это же - в бой!» - отбрасывая догадки, прозреваю я. Но они снова кружат голову. Что? Разве немцы высадили парашютный десант? А может, фронт прорвали? А может наши войска пошли в наступление: пора уж!

Идем быстрым маршем. Марш-бросок. Но, что такое? Идем не к фронту, где мы привыкли чувствовать его, а на юг. И, там бой. Значит там фронт, там передний край. Но почему? Что случилось? Чем ближе к ПК, тем явственнее его дыхание. Отдаленные всполохи, зарницы сменились вспышками. Столпы огня, это – выстрелы пушек, пульсирующие огоньки – очереди из пулеметов. Гул сменился различными звуками артиллерийской стрельбы. Затем, стали хорошо различаться звуки пулеметной и винтовочной стрельбы. Крупнокалиберные: «Та-та-та-та» – резко, отрывисто, со стуком. Ручные: «Та-та», «та-та» - вяло, приглушенно. Осветительные ракеты («фонари»), почти беспрерывно висят в воздухе, сменяя одна другую. Мы в каком-то зловещем огненном треугольнике. Что к чему – не поймем. Да и откуда нам было знать? Передний край-то видим впервые. Фронт представился мне огромным двуединым огнедышащим существом. Оно изрыгает огонь, стреляет из всех своих



жерл (больших и мелких). Оно готово поглотить все...

Мы догнали какую-то другую часть, она тоже идет туда же. Нас догоняют и обгоняют 4 танка. Фары у них закрыты. Горят подфарники и их свет через поперечные щели на фарах едва-едва высвечивает перед гусеницами короткую полоску пути. Вслед за ними промчались батарея ИПТАПа и другие подразделения. На нашем пути то и дело встречаются то ОП артбатарей и минометов, то спешно окапывающаяся пехота. Никто не спит. Копают, копают – готовятся к бою: сюда ведь тоже мажет дойти немец.

Мы идем дальше. И вот, перед нами картина оборонительного ночного боя. Картина из двух слагаемых: огневой расцветки и звуковой какофонии.

Кто, что стреляет – я еще мог понять, а вот сколько кого и чего – мне не понять. Да и знает ли кто-либо точную обстановку? Едва ли. Противостоящие стороны непрерывным огнем из одного и того же оружия, но из разных сменяемых позиций, стараются показать, что у них много живой силы, огневых средств, что они сильны. Попробуй, мол, сунься.

А на самом деле, как мы потом узнали, и у той, и у другой стороны сил и огневых средств было явно недостаточно для того, чтобы «сунуться», т.е., перейти в атаку. Да и ночь же!

Дело, как нам объяснили, было так. Немец, сосредоточив большие силы, не считаясь с потерями своих солдат, пошел в лобовую атаку. Прорвал нашу оборону на небольшом участке, вклинился, но развить наступление сил у него не хватило: истек кровью. Большие потери понесли и наши части. И вот теперь стороны спешат пополнить свои силы, используя ночь. Наше командование, как мы догадались, решило опередить немцев: нанести контрудар ночью и восстановить утраченные позиции. Для этого подняты резервы, тыловые части, инженерные и прочие подразделения. Среди них и наша рота.

Мы все ближе и ближе подходим к ПК. Попали под артобстрел. Напряжение возрастает. Приказано окопаться. Я выкопал ямку для головы и груди, вжался в нее. На большее сил не хватило. Снова обстрел. Хорошо, что не минами, а снарядами. От мин в таких окопчиках спасения нет: они разрываются, едва коснувшись земли, и их осколки разметались почти горизонтально, изрешетив все, что находится на ее поверхности. Тем временем командир взвода лейтенант Сидорчук получил боевой приказ на наступление. Он вызвал к себе командиров отделений и поставил отделениям боевую задачу. Командир отделения кратко объяснил нам кому, с кем и как действовать. Рассказал немного о противнике, о выявленных огневых средствах. Как их уничтожить и где

занять оборону, т.е. куда дойти, доползти и остановиться. Сигнал к атаке: «Красные ракеты». По ходам сообщения и траншеям заняли свою позицию для атаки. Ждем. Хуже нет, - ждать. Тем более, что не знаешь толком, чего ждешь и что ждет тебя. Ведь это первый бой, да еще ночью. Знаешь лишь одно, вот-вот настанет минута и перед тобой развернется что-то многоликое, страшное. Страх вездесущ. Как его, непрошенного, изгнать из себя?

Наши артиллеристы усилили огонь (после того я понял, что-то была всего лишь перестрелка). Немцы повели огонь на подавление их. Через недолгое время - началось! Сзади нас все осветилось. Воздух рванули выстрелы из сотен пушек и минометов. Снаряды и мины с воем и клекотом проносятся над нами и рвутся чуть-чуть впереди нас, на немецких позициях.

Смотрю я на этот смерч и думаю: «неужели там остался кто-либо живым?» Минута, две, ... десять... Огневой вал взрывов отодвигается дальше, в темную глубину немецкой обороны: то была небольшая арт-подготовка.

Красные ракеты!!! Впере-о-од!!!

Вскакиваю. Внутри всего колотит. Особенно запомнил какое-то онемение в желудке. Появилось ощущение какой-то легкой невесомости. Бежишь и сам себя не чувствуешь. Добежали до нашего боевого охранения, занимавших оборону пулеметчиков, стрелков (их было редко, редко). Вместе с ними...

Впере-о-од! Ура! Ура! Ара-ра-ра-а! С криком - легче. Наш объект - дом без крыши, остов которого нерезко выделяется в серой ночи. Бежим туда. Падаем, встаем, продвигаемся вперед, то шагом, то бегом... Немей ожил. Он открыл огонь из пулеметов, огнеметов, орудий. Загудели где-то недалеко от нас, слева, танки. Пулеметные очереди прижали нас к теплой, покрытой пеплом, отдающей запахом взрывчатки, израненной земле. И нет сил заставить себя оторваться от нее. Пули ви-и-и-у, ви-и-у, чив, чив, Цвик, Цвик: каждая поет, голосит по-своему. Звук их меняется от того, что она делает, летит, ищет свою цель, завывая виу, виу, или кого-то пришила к земле, во что-то уткнулась, от чего-то отскочила цвикая, цокая, покая.

Красные ракеты снова взмыли вверх и вперед. Это - снова приказ: «Вперед!» Справа, среди гула, криков, различаю голос комвзвода: «Встать! Вперед!.. В бога, креста!..» Правый фланг взвода, повинаясь его воле, идет вперед. Вижу согнутые, как бы надломленные темные фигуры красноармейцев, рванувшихся в пучину огня, дыма, вой пуль, осколков...Вскакиваем и мы. И тут, впереди резкий, ослепительный свет. Он, видимо, прижал нас снова к земле. Темнота. Затем оглушительные взры-

вы: «Трах! Трах! Трах! Трах!»

Осколки снарядов с бешеным шипением проносятся над нами. Каждый из нас всей спиной, всей кожей чувствует их полет. Вскакиваем. Бежим вперед, к воронкам от снарядов (там, говорили старые служаки, - спасение: второй снаряд, якобы никогда не попадает в воронку первого). Так ли, нет ли, откуда нам знать? Но опыт бывших используем. Одно стало ясно, что этими снарядами немец нас не убил, а путь нам расчистил: своих уничтожил, тех, что были перед нами. Бежим к домику. Огибаем его слева. Впереди развороченный дзот, справа искромсанный блиндаж, под углом дома - разбитая пушка и трупы, трупы, трупы немецкие, свежие... И трупы наших, насмерть стоявших вчера. Глядь, а справа, у противоположного угла дома, в окопе два немца-пулеметчика. Они, как черти из подземелья в ночной мгле кажутся черными, зловещими. Они неистово строчат из пулемета по правому флангу взвода. Мы видим, как на дульном срезе пулемета непрерывно пляшут язычки огня. У меня мелькнула мысль: «Там же комвзвода». Немцы, как глухари на точке<sup>1</sup>, за трескотней ничего не слышат вокруг себя и вокруг себя ничего не видят. Знают свое, строчат да строчат в орущую, гудящую ночную темь. Что они думали, на что надеялись они в окопе. Я пользуюсь этим. Но пользуюсь явно неуверенно, более того, безрассудно. Вместо того, чтобы стать на колени и прицельным огнем из винтовки или гранатами уничтожить их, - я бегу на них, не могу, да, наверное, и не подумал, остановиться (очевидно, инстинктивно действовал по поговорке: «Беги вперед - лучше страх не берет»). И в беге стреляю в немца, что справа. Он скрутился, закричал...Быстро работаю затвором, заряжаю винтовку, хочу еще всадить ему пулю - для верности. Но каким-то чутьем, или боковым взглядом определил, что второй фашист не поднял руки, а сейчас же, вот-вот в эту секунду, разрядит в меня свой автомат. Я стреляю в него и бью наотмашь винтовкой справа налево. Не штыком, не прикладом, как учили, а стволом (так пришлось). И тут, передо мной вспыхнули сотни свечей. То фашист дал очередь из автомата.

Его выстрелы прошли чуть-чуть выше меня: помешал мой удар, а то был бы как раз. Рядом чувствую Осадчего. Он крикнул каким-то страшным голосом: «ложись! Бей его, гада!» И сразу же, ночную мглу, гул боя, прорезал исступленный крик фашиста. Не знаю на каком языке он орал, но я понял: так кричит заяц, попавший в зубы волка, так кричит человек, заглянувший в глаза своей смерти. То Осадчий всадил в него штык. Мельком глянул я на них, и увидел лишь, как Осадчий, отклонившийся назад, выдергивает штык из фашистского чрева. Мы оба упали. Почему упали в данную секунду? Не знаю. То ли от перенапряжения, то ли от свиста пуль, что летели поверх нас, цокая о стены дома. То

ли просто споткнувшись о кучу ручных гранат, что лежали возле пулемета (как же много у немцев было всякого оружия!), то ли еще от чего? Не знаю. Упали. Лежим. И тут впереди две мины: «Кряк! Кряк!» Хорошо, что лежали! Так бы, не поднимаясь еще хоть немного полежать. Но видим, как справа от нас бойцы идут вперед. Вскокиваем. Идем и мы с винтовкой наперевес. Из дыма появился лейтенант Сидорчук. Он – комок энергии, решительности, жестокости. С широко раскрытыми в призыве ртом, с винтовкой в левой и пистолетом в правой руке, с какими-то злыми глазами, без пилотки, весь в грязи...не попадись ему ни враг, ни трус. Он, наверное, командует: «Вперед! Ура!» Но разве что-либо услышишь? Не слышишь, не понимаешь и подчиняешься. – Вперед!

Ленька Дурасов, оккупировав окоп, то выглянет, то спрятавшись, бросает гранаты влево. Думаю, немца ни то убьет, ни то нет, а нам с Петром удружит по нескольку осколков на брата. Надо подальше уклониться от него.

Бежим вперед, правее. Вернее бы сказать, по-казацки, «шкабырдаем». То упадем, то встанем, то бежим, то ползем. Дух захватывает. В груди горит! – Это единственная сейчас у нас трудность. Нечем дышать. А страх? А страха нет: Азарт боя вытеснил его. В боевой обстановке у меня был какой-то рубеж, до которого я страшился очень многого, перевалив же через него – даже смертельная опасность не вызывала страха. Первый взвод, что наступал левее нас, задержался перед ожившим ДЗОТ. Но нашелся смельчак. Он ползком обогнул его справа (с нашей стороны) и забросил гранатами. Немцы не выдержали. Выскочили. Подняли руки вверх. До них ли? Побили их на месте. Вскорости и первый взвод сравнялся с нами.

На востоке начало светать. Светает. Стало кое-что видно. Этот свет, вместе с осветительными ракетами создавал такую картину, что невольно казалось – мы в каком-то аду. Земля – не земля-кормилица, а пепел адовый. Перевернутые, разбитые пушки, пулеметы, какие-то раскоряки-чудовища. Немецкие трупы то и дело попадались по ноги, – казались затаившимися немцами, и они вот-вот схватят тебя или всадят пулю в спину. Немец же, издалека содит да содит. Бьет из орудий и минометов всех калибров.

Взрыв – это уж настоящий котел адовый. Там крики, стоны, ругань...Там уживались рядом святое слово «Мама» и трехэтажные ругательства, маты на всех языках. Сзади нас, по нашим следам идет цепь пехотинцев (подкрепление).

Ура – а! Ура-а-а...ра-ра-ра-ра!

Вперед! Взять последний рубеж (первую траншею). Немец открыл ураганный огонь. Но разве теперь нас остановишь! Завязалась кое-где

рукопашная. Местами ближний бой гранатами. Мы, не останавливаясь, ведем огонь из винтовок, стреляя туда, в немца, с криками УРА – а! Ура-а-а! Бежим вперед. После ребята рассказывали, как они выковыривали немцев из блиндажей, дзотов, траншей... Мне больше ни один немец не попался.

Вот и заветная траншея. Вваливаюсь в нее. Во многих местах она завалена, но укрыться в ней от огня можно. Кое-кто из стрелков, в азарте боя, перепрыгнув траншею, окопы, побежали вперед вдогонку за немцами. Но немцы поставили такой заградительный огонь, что преодолеть его было невозможно. Многие из смельчаков поплатились жизнью, другие ранены. Последовала команда: «Ложись! Назад!..» Постепенно, ползком, ползком все заняли ОП в окопах, ячейках...

«Окопаться! – приказывает командир роты.

Нашего взводного не видно. Куда девался? Не видно и командира отделения. Я его и фамилии не запомнил: он новенький. Потом узнали, что оба они убиты. Сгинул куда-то и Голован. «Ну и черт с ним» - думаю. Дурасов Леонид здесь, вот Петра Осадчего нет. Куда делся Петро? Ведь только что, совсем недавно, перед последним броском был рядом. И вот – нету.

Пробовал звать – не отвечает. У кого не спрошу – не видели. Пойти на розыск нельзя: в бою назад не ходят. Немец вот-вот пойдет в контратаку.

Сзади нас зажимают ОП пулеметчики, дальше – ротные минометчики, а за ними пушки «сорокопятки» и т.д. Чем дальше, тем орудия тяжелее. Снуют туда-сюда саперы с противотанковыми и противопехотными минами, с колючей проволокой, ...подносчики боеприпасов тащат волоком ящики, повара с термосами в руках с вещмешками за спиной спешат накормить... Передний край живет своей предутренней, предрассветной жизнью. Днем ничего этого делать будет нельзя: попадешь на пушку врагу.

По траншее, прижимаясь, идут два командира и сержант и два красноармейца. То наш командир роты и пехотный (хозяин этих траншей). Наш комроты, хотя и измят, бледен, не подтянут так как прежде, но выглядит ухоженным, по сравнению с пехотным. Да и то, для нашего – это первое и в общем-то не очень трудное боевое крещение (если не считать бомбежек), а для пехотного командира – это не самое плохое. О нем говорили, что он из взводных прошел «Крым и Рим». Говорили, что он лично сжег немецкий танк, ходил в штыки...

Смотрел я ему вслед и думал: «Вот, под его командованием повоевать бы!»

Поднялось солнце. Глянул на восток, на то поле боя, по которому

мы только что прошли. И ужаснулся. Сколько там всего наворочено! Пройти еще, повторить – невозможно. Как пробилась?!

Немец открыл огонь. Бьет по ПК. Пронеслись штурмовики. В небе вездесущие «мессеры». Снова артогонь. То там, в траншее, то в другом месте, либо крик предсмертный, либо мат трехэтажный, то раненые «разговаривают» сами с собой. Жаловаться некому и неуместно.

Передний край живет своей жизнью.

Днем на нас, а точнее, несколько позади нас, обрушился шквал немецких снарядов и мин. Почему так – не могу сказать. Ошиблись ли прицелы? Может боялись поразить своих? Сзади все черно: и земля, и небо, и воздух – все смешанно, поднято на дыбы. Впереди же – спокойствие (конечно, по сравнению с тем, что сзади). Лишь вдалеке, в глубине немецкой обороны, непрерывные вспышки от орудий, да грохот выстрелов и разрывов, а вблизи то там, то там мельтешат языки тусклого пламени на дульных срезах пулеметов.

Вдруг, вижу, как впереди, в метрах двухстах, по всему полю, что-то шевелится, ползет, приближается.

Ба! Да это же немцы! Ползут, гады, поднимаются, бросками, короткими перебежками все ближе и ближе к нам. Немецкие пулеметы беспрерывно сеют миллионы пуль впереди нас, по нашей траншее, позади нас. Немцы атакуют!!!

«Вот и наступает твой час, самый, самый... - думаю я про себя. – Надо успеть пару фрицев уложить прицельным огнем из винтовки. Затем одного (на большее не рассчитываю) надо встретить с открытыми глазами: принять на штык... Готовлю себя, изыскиваю в себе силы, уверенность, готовность...И... «летопись окончится моя». Было ясно – не уцелеть. Впереди- немец, сзади – приказ: «Ни шагу назад!»

Наша артиллерия открыла огонь. Правда, редко, но – метко. Таким огнем, думаю, немца поугагать поугаешь, но не остановишь. А они, вот-вот встанут и пойдут в атаку, начнут поливать наши редкие ряды свинцовым дождем из автоматов.

Боже мой! Что делается внутри у меня! Снова повторяется то, что было вчера перед атакой. Потом в азарте боя я забыл про страх, про все... про себя, а вначале, перед боем – било, колотило. Так и сейчас... Команда: «Огонь! Гранаты к бою!» Вся передняя наша траншея, не попавшая под артобстрел немцев, заговорила. Застрочили пулеметы, забыхали винтовки, даже минометчики, что остались живы.

Беру на мушку «понравившегося» мне немца. Выстрел. Промех. Быстро заряжаю винтовку. Выстрел. Мимо. Э, думаю, так не воюют! Высовываюсь из окопа, ложусь грудью на бруствер. Немец на мушке. Палец на курок... Вспышка, толчок в плечо, звук... Цель! Радость охватыва-

ет меня. Ага, нашла! Мой немец дернулся, скрутился, лежит. Прицелился в другого. Вдруг, впереди, как-будто какие-то птички с налету, бросились в пыль, в пепел. Думаю, искупаться хотят в пепельной ванне, от насекомых избавиться. (Правду говорят: «Дуракам грамота вредна»). Но... Цвик, цвик чуть-чуть впереди меня, в бруствер. Э! –быстро мелькнула мысль, - это же пулеметная очередь, это же пули, а не птички...» И...ползком, ползком, как уж на брюхе сползаю в окоп. «Нет, друг, храбрость хороша, когда голова на плечах, а без головы...» Надвинул каску. Меж ней и землей – лишь узенькая щель. Так-то надежнее.

Немцы встали и во весь рост (!) идут, бегут на нас. Их секут наши пулеметчики, помогаем и мы. А они идут, падают...идут... Что с ними, пьяные?

И тут, сзади нас, из-за не рассеявшегося дыма из сотен пушек раздался гром выстрелов «Бах! Ба-бах! Бах!» и пошло, и прямо перед нами (в метрах в 100) «Трах! Трах! Трах!..» - сотни взрывов. Все, что было живое и мертвое, взлетело вверх. Что там было?! И вижу, и не знаю. Но было что-то жуткое, но нам принесшее радость. Атака немцев захлебнулась! Гора с плеч. Стало так легко! Даже смрад, дым и пыль от наших снарядов, нанесенные на нас ветерком, - были приятны. И надо же, я с сожалением подумал: «Черт возьми, не удалось..., а так хотелось...» (?!). «Врешь же ты, - говорю я сам себе, - ты же дрожал, а теперь... «не удалось», «хотелось». Расскажи кому-нибудь о такой эволюции мысли и чувств у меня – засмеют, не поверят. Да я и сам бы не поверил. А вот было же!»

.....  
Целый день шла артиллерийско-минометная дуэль. Справа от нас тоже (даже больше) все гремело, горело. Там, наверное, шел бой насмерть.

Мучит жажда. Я еще утром, как только получил свою порцию воды, так выпил ее. А днем ее не достать. Ленька Дурасов сидит невдалеке. Все чего-то мне рассказывает жестами. Но я не понимаю его.

Стемнело. Все зашевелились. Поползли. Приполз и Ленька ко мне. Он с захлебом рассказывал о том, как он отразил атаку трех немцев, когда мы с Осадчим расправлялись с пулеметчиками. «То-то дела своих рук, - думаю я, - как они высоко оцениваются». А ему сказал: «Смирные немцы тебе попались, Леня». В самом деле, трое, а не было выстрелов, убежали.

Смотрим, а к нам от КП роты шествует Петька Осадчий. Нагружен. Вооружен до зубов. Сколько радости!!! Ребра поломали (мы ему вдвоем, а он нам обоим). Принес воды! – Самое главное! Принес котелок каши, хлеб. Рассказал, что в тылу потери тоже большие. Он ранен в ле-

вую руку. Рана небольшая, осколком царапнуло, но болит «растреклятая, как и заправская».

Бумажку с красной полоской ему не дали (направление в медсамбат дивизии), а при медпункте, при кухне, оставаться не захотел. Потянуло сюда. Голован там, в тылу. Болтается у кухни. Перевязан: ранен в лицо и ухо.

За ужином он рассказал, как ему удалось определить фашиста, который стрелял в меня, как он пропорол его штыком. «Был бы тебе каюк, - говорит он мне, - если бы я чуть-чуть задержался». «Спасибо, дружок, - говорю я ему, - спасибо за верную боевую дружбу и отвагу». И пообещал в расплату с ним в следующем бою – «пропороть» двух «его» немцев.

Он достал блокнот... и записал в него: «Дронов. Должен мне...двух фрицев». Леня Дурасов чуть со смеху не умер. Ничего себе должок... «Я, - говорит он, - комбату доложил».

Так и записали одного немца на меня, одного на Осадчего. А того немца, которого я убил выстрелом из винтовки перед атакой – не признали. Это, говорят, ты выдумал, или убил вместе с другими, а хочешь присвоить себе. А как докажешь? Да стоит ли доказывать? Важно то, что немцу капнут.

Всю ночь к нам шли и шли свежие подразделения пехоты. Согнувшись под тяжестью боевой амуниции, они быстро, сноровисто занимали боевые места в сложном лабиринте обороны.

Остатки нашей роты, т.е., нас, отвели на другой участок обороны, на другую полосу ее.

Комиссар подошел как-то ко мне и спрашивает:

-Ну как, Дронов, правду я тебе говорил, а? Повоевал?

- Немножечко, - отвечаю я. – Комвзвода вот потеряли!».

- Да, Сидорчук боевым был. Молодец был! - говорит комиссар и добавляет – Правду в народе говорят, что на войне гибнут хорошие люди.

- Правда. Истинная правда. Хороший боевой был командир. Жалко мне его. Я там узнал, какой он.

- В такие минуты смертельной опасности – вошел в раж мой командир, - человек оголяется, остается при нем лишь то, что Его. Все остальное исчезает. – И потом добавил – Твой командир – герой. Слава ему!

Все красноармейцы, что окружили нас, заговорили, наперебой начали вспоминать, как лейтенант геройски вел себя в бою при бомбежках. Какой он был боевой, хороший он был... Всем жалко Сидорчука. Да и каждого погибшего жалко – все они ведь были хорошими.

Встретил я и Голована. Он ходит «козырем». Как же, он кровь пролил! Где он ее проливал, не заметили мы. Отстал от нас он еще до тех



четырёх разрывов, что обрушились впереди нас у домика и ДЗОТа, т.е. в самом начале атаки.

Ленька Дурасов утверждал, и делал при этом серьёзный вид, убежденно утверждал, что Голован сам себе штыком пропорол кожу на щеке и раковину уха.

Я выругал его за кощунство.

Вот, кажется и все об этой контратаке. Это, все, что я мог рассказать. Да разве все расскажешь. К тому же я мало видел, видел только то, что было передо мной. Мало понимал. Понимал только то, что надо вперед, надо убить немца. Да к тому же многое и многих я уже забыл.

Середина августа. Враг рвется к Ленинграду. У Луги, вот уже почти месяц, идут кровавые бои с превосходящими силами врага. Луга стала острием штыка обороны Ленинграда на дальних подступах. На случай, если враг прорвется у Луги или со стороны Новгорода, сооружается новый оборонительный рубеж. Вот, уже которые сутки, мы копаем, копаем, без конца и края копаем...

Кажется, сделано все, чтобы остановиться, обескровить, а затем и отбросить врага. Так казалось мне, с моей солдатской колокольни. Но вот...

Наступила тревожная, кошмарная ночь. Вокруг творится что-то неопишное. Впереди, там, где был ПК, сплошной огонь, непрерывный шум боя. И, вместе с этим, мимо нас на восток устремились колонны машин. По обочинам дороги бесконечные колонны по два, по три, а то и по одному и без всяких колонн идут и идут наши стрелковые части. Тракторы ЧТЗ тянут крупнокалиберные орудия, четверки лошадей мчатся с семидесятимиллиметровыми полковыми пушками, повозки, верховые, гудят танки... - все спешат. Спешат оторваться отседающего врага. Многих останавливают, на ходу формируют команды и направляют в окопы.

«Что делается?!» - «Отходят на заранее подготовленный рубеж обороны» - разъясняют те, кто чего-то знают и те, которые ничего не знают. Где он, тот рубеж? На это ответа нет.

Перед утром к нам вливается какой-то потрепанный в бою батальон. Нас потеснили. Это к лучшему. Рядом - то же. Приказ: «Занять оборону. Ни шагу назад!» - «Живем, братца, нашего полку прибыло», - пытаются острить красноармейцы.

Команда, команда. Мне кажется, что многие команды неуместные, бесполезные. Для меня задача ясна. А вот ясна ли она для тех, кто командует - не знаю: кругом сумятица, неразбериха. И тут вспомним Пушкинское и подумал о себе: «...суди, дружок, не выше сапога». Ясно всем, что наши отступают, что там, на ПК - истекает кровью арьер-

гард... Ясно, что немец вот-вот будет перед нами или обойдет, окружит! Ясно, что не остается ничего другого, как стоять насмерть: все равно догонит и в сумятице бегства искромсает все и вся. Нашелся бы, думаю, командир, который обуздал бы эту неразбериху, вселил бы в нас дух боя и повел бы в бой... Принесли завтрак. Ешь, не хочу. Не лезет он. Знаю, что надо кушать, что это может быть, на целый день... Ничего не могу поделать.

Сжалось, онемело все внутри... Что, зачем сжимается? Плевал я на смерть сегодняшнюю: чем завтрашняя лучше? А вот же... Впереди зама-ячили немцы. Полчаса, час... Утро.

Вдруг ослепительный свет орудийных выстрелов у немцев, как бы споря с солнцем, осветил впереди нас лес, холмы, облака. Свист снарядов, свиной визг мин...» Трах! Трах!..Кряк! Кряк! Кряк!..» Воздух разорван, земля вздыбилась красно-бурыми фонтанами. За ними новые, новые... Что вокруг!! Ни посмотреть, ни сказать, ни спросить – все подавлено бесконечным гулом взрывов. Опытный враг подошел бы, взял бы за шиворот, «и ... в сумку». Минуты текут...двадцать...тридцать. Да как же долго! Да будет ли конец? Уж и жизни не рад, а он все бьет и бьет. Живы ли товарищи? Ясно: немец хочет сделать впереди себя мертвое поле, куда затем и вступит кованым сапогом.

Солнце заволокло. Дым, гарь, пыль, смрад стали настолько густы и пропитаны, что дышать нечем. Не газы ли? Невольно щупаю противогаз...

Артподготовка, как по мановению волшебной палочки, смолкла. Стали слышны стоны, крики раненых... Слышится команда: «приготовиться!» - то командир роты, зная, что за окончанием артобстрела и переносом огня вглубь, начнется атака, - готовит роту к ближнему бою.

Я очистил винтовку от земли, протер затвор, повернул его раз, другой: порядок. Слышу и вижу в окопах народ ворочается – живы. Добро! Ждем немца. «Живьем в руки не дамся» - решаю я.

Этих секунд было достаточно, чтобы подготовиться к бою. Но...положение изменилось. В воздухе слышится, и все больше и больше нарастает гул. Воздух наполняется им, он разливается везде, проникает внутрь, вызывая знобящую тревогу, сжимая какими-то упругими обручами все, что есть у меня, во мне. Над нашими позициями, над дорогами отступления наших частей, нависли пикирующие бомбардировщики, а выше них мессершмитты.

Вот они и к нам устремляются. Ложатся на краю, блеснув на солнце, поворачиваются вдоль ПК. Их рев, визг бомб, взрывы, один за другим группами по три... - все это разрывает душу, вжимает в землю, страшат еще больше, чем артобстрел. Помню только, как земля качнулась, ушла из-под ног, меня закружило в окопе, как пробку в бутылке.

Тугая волна взрыва ударила в уши, земля окатила всего меня с головы до ног... Снова заход новой тройки. Пикировщики падают и взмывают вверх, оставляя черные обрубки (бомбы) не у нас, а немного в стороне. Черт возьми, смотри же, жив остался!

Быстро привожу в порядок винтовку, гранаты, себя.

И тут вопль потерявшего себя красноармейца - пехотинца, уже встречавшегося вчера с немцами. «Не-ем-цы!!» - орет он с заиканием, широко открыв рот, выпучив глаза, и винтовкой в дрожащих руках указывает на ложбинку, по которой на нас бегут мышинового цвета люди. Видно, что он бедняга контужен.

«Ну и что же, их то мы и ждем» - думаю я. - Чего же так отчаиваться». Правду говорят: «Пуганая ворона - куста боится». Через некоторое время новый крик: «Т-т-ан-ки!» - кричит и указывает мне на сворачивающих с дороги в нашу сторону четыре немецких танка красноармеец Голован. Чувствую, что Голован, как и я, а может и еще больше, боится встречи с танками. В 1941 году кто их не боялся? (У нас даже бутылок с горючей жидкостью нет! Разве пехотинцы не оробеют?)

Немцы обнаглели. Идут...

«Огонь!» - доносится откуда-то издалека или из глубины траншеи команда.

Застрочили пулеметы, к ним присоединились резкие хлопки винтовочных выстрелов. Напряженно, как не своими руками, ловлю на мушку, развернувшегося к нам боком, размахивающего руками немца (наверно какой-то фюреренок). Выстрел! И...Промах! Еще выстрел...промах. Да что такое? Бежит, проклятый. Еще, еще стреляю. Наконец-то, ага! Немец качнулся, согнулся, вновь выпрямился и...споткнувшись, упал. Мой ли, коллективный ли. Разве поймешь.

«Гранаты к бою!» - подает команду старший сержант. Кричит так, что не поймешь, чего больше в его крике, приказа или страха. Вижу сам, дело доходит до гранат. И тут, в гуще атакующих немцев, разрезав их надвое, сплошным столбом встали фонтаны огня и земли. То наша артиллерия ударила по врагу.

Немцы деморализованы. Залегли.

«Вот так-то, шиш вам, накося, выкуси...» - торжествую я, бодря себя.

Но восторг мой был недолгим.

Над нами снова стая пикирующих бомбардировщиков. И тут я почувствовал, что сзади меня все задвигалось. Оглянулся, и вижу... наши драпают, бегут в лес...

По траншее, по ходу сообщения, через трупы и завалы, согнувшись, бегу и я к лесу. Эти 300-400 метров я, наверное, преодолел со скоростью, которой позавидовал бы хороший спринтер

Оглянулся, а там, на наших позициях - поднято все дыбом. Гансы бомбят, педантично делают заданное им дело. «Бомбите, бомбите – поливайте своих, помогите нам оторваться от преследования», - думаю я. Впереди меня, под дерево уткнулся старший сержант. «Что, товарищ командир?! – «Да вот...» - указывает на бок...

Я беру его под руку... «Нет, я сам...» - но отдает мне винтовку, вещмешок, каску, противогаз. Бежим. Впереди нас весь лес заполнен бегущими.

Перебежав через дорогу, остановились, чтобы собраться с духом. Встретил Осадчего.

-Жив?

- Как видишь, - отвечает он мне.

-Ты когда же драпанул?

-Когда! Когда был приказ.

- А разве он был?

- Понимать надо, - отвечает он мне ухмыльнувшись.

.....  
**Из истории боев на подступах к Ленинграду.**

«...15 августа...противник вышел на линию Нарва – Гатчина...»

«...21 августа противник вышел к Красногвардейскому укрепрайону...»

«...29 августа захватил Тосно».

«Выход противника к Красногвардейску и Колпино вынудил советские войска, оборонявшиеся в районе Луги, отойти на север». (Ленинградская битва 1941 -1944. БСЭ).

«22 августа Лугу покинули последние роты наших бойцов, а через день в город вошли немцы». (Зерциллов. Луга. Л.,1972).

.....  
**Наши войска отступают от Луги к Ленинграду**

Как отступали остальные наши силы, в каком порядке и какими путями-дорогами, я не знаю, и ничего о них сказать не могу. А как мы драпали – расскажу. Легко сказать, «расскажу», а как это сделать. Да еще про себя, про такой период, про такие дела, когда сам от себя бы отказался, сам себя стыдился...

Наш путь-дорога на Восток проходила по лесам, мочажинам, кочкам, а кое-где и болотами. По тем самым местам, по которым месяц тому назад шли на запад, к фронту.

«Куда же девались дороги?» - спросите вы. Не было для нас дорог. Наши дороги были не наши – немецкие. По ним, - рассекая наши исконно русские поля и леса, подминая под себя наши деревни, колхозы... - все, что осталось, что не могло уехать, уйти, убежать, - ползла, лязгая

гусеницами танков, гудя моторами машин, сотрясая воздух взрывами орудий и бомб, неся смерть и рабство, навалившись на нас бесчисленными (?), армия фашистских захватчиков.

Фашисты на бронетранспортерах, мотоциклах, машинах. У них танки, самолеты, пушки, а мы, в те дни, пешком, с винтовкой в руках, с гранатами на поясе, с кишками, играющими марш от голода...

Идем. Бежим. Побежишь! Если остановишься – окружение, плен или смерть. Для меня это – одно и то же.

Поэтому и идем, поэтому и бежим. Куда? Самый точный ответ – к Ленинграду: там мы надеялись собраться с силами, организоваться... дать немцу по зубам. Туда, к городу Ленина, к главному городу революции мы шли.

Шли больше ночью (благо, что они светлые), шли и днем, но редко. Скрытно шли.

В один из дневных переходов наш лесной путь пересекало шоссе. Нам никак не удавалось незамеченными преодолеть эти 40-50 метров открытого пространства. Собралось нас много. Это остатки потрепанных в боях частей, подразделения, группы, да и одиночные красноармейцы и командиры, примкнувшие к нам. Мы – тоже осколок полка: 86-го ДЭП. Подразделение малочисленное, поредевшее от бомбежек в последних боях, но боеспособное. С нами командир и комиссар роты – это многое значило. Где-то среди колонны шел и комиссар полка и с ним несколько штабных командиров. Связи с полком не было. Был, говорят и «главнокомандующий» и прочее командование этой группой, но я о них ничего не знал. А поэтому и сказать о них ничего не могу.

Разведчики группы установили, что шоссе перейти нельзя: без конца и края едут немцы. Каждый понимает, что ожидать, пока пройдут немцы, бесполезно. Ждать ночи, тем более, опасно: немец обнаружит, разбомбит, закроет все выходы на Восток.

Нашей роте, усиленной трехпушечной батареей сорокопятки и отделением минеров, приказано оседлать шоссе на косогоре, задержать врага, обеспечить возможность всем другим подразделениям пересечь дорогу и углубиться в лес. «Тылы» роты, старшина и комиссар роты, остались в колоннах вместе с другими подразделениями группы.

Используя небольшой перерыв в движении немецкой колонны, мы заняли позиции по обеим обочинам дороги, вжались в ямы, рывины, воронки от бомб, в наспех выкопанных ямах. Первый взвод обороняет правую, западную обочину и прилегающую к ней опушку леса. Он выдвинулся несколько вперед по сравнению с нами. Наш – восточную. Сорокопятки – восточнее нас в глубине леса, пулеметчики ближе к нам, а минеры – впереди нас, по флангам, как оглашенные, напикивают под-

ходы минами.

- Оборона, - что надо, - поговаривают красноармейцы, одобряя и распорядительность комроты, и сноровистость товарищей.

- Против танков ничего у нас нет, - сокрушаются красноармейцы.

- Штыком в залізні очі, - шуткует кубанский хохол...

Не успели мы, как следует углубиться в землю, вдали показались немцы. По дороге мчатся мотоциклисты, за ними два броневика, а затем бронетранспортеры с автоматчиками. А дальше... чем дальше, тем больше. Там без конца и края, как длиннущее пресмыкающееся, изгибаясь между лесов, то, сгорбившись, то, прогнувшись, движется, поднимая пыль, ползет темное, неразличимое.

- Эх, парочку танков бы нам, вот ба накромяли отбивные из фрицев, - говорит старший сержант, всматриваясь злыми глазами в немецкую колонну.

- Как бы из нас винегрет с землицей и осколками не получился, - высказывает резонное опасение Осадчий.

- Скорее бы наши там переходили, - подает голос Леня Дурасов из своего окопчика.

Он сказал то, о чем думает каждый: чем быстрее наши перебегут дорогу и углубятся в лес, тем меньше придется быть нам здесь. Чувствуем, что задержка на лишние 10-15 минут дорого обойдется всем нам.

«Приготовиться к бою! - подает команду комроты. - Стрелять по команде!»

Старший сержант (теперь он командир взвода, после того, как в ночной котратаке геройски погиб комвзвода лейтенант Сидорчук) командует: «По мотоциклам не стрелять!»

Немецкие мотоциклисты проскочили мимо нас, ничего не заметив. «Катите: вы в капкане, - говорит старший сержант и командует Дурасову: - Наблюдай за ними. Не подпусти, если возвратятся!». Через минуту слышим стрельбу. То наши прикончили немецких мотоциклистов.

На нас мчатся два броневика, а чуть сзади них, в бронетранспортере автоматчики.

«Батарея, огонь!» - слышится из леса команда артиллериста.

«Трах! Трах! Трах!» - подняли землю перед броневиками разрывы снарядов. Один броневик уткнулся в кювет. Другой остановился, водит из стороны в сторону пулеметом... Из него запрыгали светлячки выстрелов... Но и он пятится назад, хотя и стреляет. Пули цокают о стволы деревьев. Немецкие автоматчики сыпанули на землю, ползут по кювету, обочине, перебегают между стволами, прячутся за них...

Нас-то они не видят: смотрят в лес, откуда бьют пушки. Орут, строчат из автоматов по лесу... им на подмогу мчится еще один броне-

транспортер. Из него застрочили из ручных пулеметов...

Мы молчим. Пушки наши делают свое дело. Загорелся второй броневик. Это уже дело! Немцы залегли. Потом встали. Идут западной опушкой леса, рассыпавшись в цепи. И...напоролись на наш 1-й взвод...Очередь дошла и до нас.

«Огонь!» - командует наш старший сержант. Вразнобой, потом чаще, потом слившись в единый треск винтовочных выстрелов оцетинился огнем весь наш косогор. Мы немцем бьем, а они лишь строчат перед своим носом, «по комарам» из своих автоматов: им не достать нас, (автомат хорош, но плохо то, что не дальнобоек), а нам в пору, как раз: винтовки дальнобойней автоматов. Вдобавок нас накрыли разрывы сорокопятков...

«Хорошо! Бей гадов!..» - кричит старший сержант. А чего же их не бить? Они ведь к нам лезут, а не мы к ним.

Но тут воздух разорвали взрывы немецких снарядов. Где-то там, выйдя из колонны, развернувшись, открыла огонь немецкая батарея 57-миллиметровых пушек. Правда, взрывы далеко сзади нас. Но...всяк понимает: это ненадолго. Пристрелятся и накроют нас.

«Плохо дело», - говорит Петр Осадчий. И, действительно, немцы перенесли огонь по лесу, по нашим сорокопяткам.

Мы вжались в землю.

Немцы пошли в атаку.

«Огонь! Огонь! Огонь!» - все, что могло стрелять у нас, стреляет.

Немец ползет.

Немец прижат к земле.

И тут мы видим, как наш первый взвод снялся и, минуя нас, бежит через дорогу в лес. Кое-кто из наших тоже поднялся, было, но последовала грозная команда комвзвода: «Ложись! Мать...перемать!..Убью!!!» Подействовало. Улеглись. Огонь усилился. Немцы, наверное, заметили перебежку у нас и решили, что мы сбиты. Идут в полный рост. Вот тут уж мы отвели душу. Вошли в азарт боя. Хорошее было состояние! Ни черта, ни о чем не думали, кроме как о том, чтобы убить немца. О себе - ничего. Немецкие пули впиваются в землю, схватывая облачко пыли, а нам хоть бы что - стреляем и все.

Вдруг рядом со мною, как-будто кто его резал, заорал красноармеец: «Т-а-н-к-и!»

Правда, вдаль вышли из колонны танки и устремились к нам, но им надо еще не менее 10 минут для того, чтобы ворваться на наши окопы. Чего же так орать? Но дело сделано. Всех обуял страх (и меня в том числе). Танки! Что мы тогда могли противопоставить им, кроме своего затылка? Командир роты, видимо, понял, что большего мы сделать не в

состоянии, дает команду: «Гранаты!..» В немцев полетели гранаты. Правду сказать, мало их достало до них. Враг прижат к земле, ослеплен. Пулемет заливадается, в трескотне, а мы...вслед за старшим сержантом, по его команде бежим в лес.

В нашем взводе потерь мало. В первом же – много, и еще больше у артиллеристов. Разбиты две пушки, убиты четверо и ранены шестеро. А было-то их, наверное, всего человек восемнадцать – двадцать.

Захватив убитых и тяжелораненых уходим по некрутому склону, заросшему лесом, вниз, подальше от врага. Наш отход прикрывал первый взвод. Он заранее перебежал шоссе и занял оборону. Немец далеко в лес не пошел: побоялся. Мы, похоронив убитых, тронулись в путь. Потом, когда часа через три догнали своих, осмотрелись и удивились. Как нас мало, а какую махину задержали, да еще сколько искромсали фрицев. Раненых передали в медчасть. Смотрел я на двух раненых своих товарищей и думал, какую же надо иметь силу воли, чтобы идти на прострелянной ноге, с раной в плече!..

Командир роты возвратился от начальства вместе с комиссаром. Довольные, веселые. Они поздравили нас с одержанной победой.

Всю ночь мы шли и шли. Несли ящики с патронами, гранатами, с продуктами, несли на носилках тяжелораненых... Где силы брались? Надо спешить. Надо вырваться.

.....

Утром шли через какую-то одноуличную деревушку. Жителей – никого. Ушли на Восток, в лес. Домишки, сараишки либо разрушены, либо сожжены. Немецкие бомбардировщики разбомбили «важный военный объект».

На одном домике, стоявшем на взгорье, с «казенным» палисадником вокруг, висит на одном гвозде вывеска... Совет депутатов трудящихся...Окна в доме разбиты, некоторые створки болтаются от утреннего ветерка, двери сняты. Внутри пусто. Осталась одна вывеска!.. Вывеска да мы...

Подполье, тюрьмы, каторги, что вынесли революционеры – ленинцы, революция, гражданская война, жертвы...Трудности первых пятилеток...Да неужели, думаю я, все это можно стереть с лица земли одним махом фашистской своры? Неужели?..

Слухи. Ох уж эти слухи. Одни говорят, что немцы уже заняли город Гатчина. Другие говорят, что еще вчера они вступили в Тосно. А ведь все эти города там, на северо-востоке, под Ленинградом, куда мы идем! Надежда лишь на то, что все это выдумки паникеров, злобный пересказ провокаторами геббельсовских листовок (их сыпали на наши головы тысячами). На то, что никто и ничего толком не знает. И на то, что



наши войска из Ленинграда вот-вот пойдут в наступление... И на то, - в крайнем случае, - что леса-то немцем не заняты. Лес - наш дом, наша дорога к своим.

Но вот, в один из дней от одной стриженной головы к другой, от одного красноармейца к другому (командир роты молчал, как воды в рот набрал) пополз слух: выхода нет, кругом немец, нас сдают в плен. В плен!!! Мыслимо ли?! Мы к старшему сержанту - он ничего не знает. Мы к тому, другому, к кому имели доступ - никто ничего не знает. Надо бы обратиться к младшему политруку, но он куда-то запропастился. Слух обретает силу. Лагерь заволновался, закучковался. Красноармейцы кучками, группами обсуждают обстановку.

Молва, отрава, делает свое гнусное дело. В разных лицах видится разное отношение к беде. Одни рады этому: конец войне... Другие ходят серее тучи. Большинство таких. Они в смятении. Я не в состоянии описать, то смятение чувств и мыслей, которое нахлынуло на меня. Неизбывное горе - вот, пожалуй, самые подходящие слова. «Вот, братушка»,- обращаюсь мысленно к Ефиму, к дому, к Дону, - и отвоевался я. Вот и победили немца». Горе за себя, за судьбу родных, за Родину. Как же так? Мы здоровы, можем драться, в бою, по крайней мере, убьем по одному немцу, и то - дело... А тут, без боя - плен. Да кто же мы? Да кто же те, кто нами командует? Своему другу Петру Осадчему сказал прямо: «В плен не сдамся. Уйду». Петро засиял (может надо сказать точнее: лицо у него и глаза засияли, как на встрече с счастьем). Он с присущей ему силой, так толкнул меня в плечо, что я чуть-чуть не скопытился и, сказав мне ни слова, подошел к Дурасову. Что-то говорит ему, искоса поглядывая в мою сторону. Ленька от радости зарделся, как мак... - рад, и свою радость не может. Петр что-то ему еще шепнул. Оба они приняли подобающий обстановке вид и разошлись. Петька лишь подмигнул мне, но не подошел. Дело в том, что прошел слух о том, что сдача в плен происходит согласно приказу. Что при организованной сдаче, с оружием и прочей амуницией нам, якобы, будут оказывать льготы, чуть ли не поощрения, и что к дезорганизаторам организованной сдачи будут приняты меры... Каково!

Страшное дело - неведение. Может быть это все выдумки, более того, провокация. Долго бушевали страсти. Вопрос, действительно, обсуждался не только в нашей роте, а там, в командовании. Каковы там были дебаты? Не знаю. А нам это очень надо было знать. Уйти-то уйдем, а не получится ли, что мы уйдем не из уготованного нам плена, а из Красной Армии, т.е. не обернется ли дезертирством наш патриотизм?!

Через некоторое время оттуда, от командования, вышел наш батальонный комиссар и с ним 5-6 штабных. Пополз шепот, высказывания -

одно несуразнее другого. «Он башкирин, недоволен русскими...» - «Ему ничего немцы не сделают: откупиться нами...» - «Верили ему, а он...»

И пошло, поехало.

Батальонный вызвал к себе всех командиров, и наших, и тех, что присоединились к ним. Несколько минут о чем-то разговаривали.

И вдруг команда: «В две шеренги, становись!»

Не по-ротно, не по-взводно, а в две шеренги! Что это?

Сердце екнуло. Кто мы, уже не взвод, не рота, а ...сброд, пленные??!

Комиссар подходит к строю. Ему докладывают, теперь уж, как положено, по уставу. Даже то, что доложено по уставу РККА, действует успокаивающе. Командир показывает обеими руками, чтобы правый и левый фланги шеренг подошли к нему. Образовалась живая буква П.

Видно, что он хочет обратиться к нам, но ему это трудно дается. Начиная, он произносит: «Мин... (по-башкирски - Я), - потом спохватившись, что надо говорить по-русски, поправляется, - Я, знаю один приказ - Сталин приказ. Драться, пока есть голова, сердце, живыми в плен не сдаваться...», - и замолчал. А потом, овладев собою, уже спокойно говорит: «Пойдем на Ленинград. Будем пробиваться к своим. Встретим немца, - уничтожим...»

В шеренгах - вздох облегчения. Невольно заговорили, загудели. У многих от избытка чувств навернулись слезы (то же было и у автора этих воспоминаний). Комиссар повысил голос, все стихло: «Это приказ Сталина!» Он обвел взглядом шеренги и добавил, зло, с надрывом: «Паникером судить на месте». Его правая рука машинально легла на кобуру пистолета. Все ясно! Обращаясь к командирам, сказал: «Я, в голове колонны. Выполняйте!»

Послышалась команда за командой: «Вторая рота, по-взводно, становись!» - «Первый взвод...» - «Второй взвод...» - «Батарея, становись!» - «Саперы...Разведчики, становись!..»

И пошли. Пошли в сумрак леса. Но, кажется, что стало светлее, что перед нами широкая лесная дорога домой. Мы, конечно, не знали, какой она будет впереди и как много мы потеряем. Потеряем при прорывах через немецкие кордоны, да и не только через кордоны!..

- Вот он, настоящий сталинский комиссар, - говорит мне Осадчий.

- А что говорили про него! - вставляет Дурасов.

- Мало ли у нас болтунов, - отвечаю я.

- Нет, это были не болтуны! Это - провокаторы, - возмущается Петро.

Трудное время было! Трудно было разобраться в обстановке. Трудно было идти. А еще труднее уходить. Идеи-то не налегке, а с грузом, да еще под моральным гнетом возможного окружения...

Но, что это по сравнению с тем, что было нам уготовано! И повел нас комиссар на Восток. Шли лесом, лесными дорогами, по узкоколейке, по болоту. Шли! Шли днями и ночами.

.....

Батальонный комиссар идет вместе с нами. Он старается подбодрить нас, вселить уверенность: «Выйдем, выйдем к своим!» - говорит он. Чем ближе к городу Гатчина, тем труднее. Вот уже несколько дней не работает «пищеблок». Полевая кухня брошена. В ней была сварена последняя пара буланных и больше закладывать было нечего. Перебиваемся с сухаря на воду. Сегодня - ни того, ни другого. Беда. «Кишка кишке кукиш кажет...»

А еще большая беда - немец кругом. Хорошо, что он трусоват: боится заходить глубоко в лес. Но у него есть бомбы, снаряды... В этом его сила. Мы все яснее и яснее слышим гул боя в направлении к О(?)бауму и Красногвардейску. Стало ясно, что на северо-восток, к Ленинграду нам не пробиться. Путь один - на юг, а потом на восток. Но тут шоссе, а по нему почти бесконечным потоком идут колонны немецких мотомеханизированных войск.

Наступили решающие минуты. Ждем конца дня. Ждем ночи и утра, долгожданного утра, когда можно будет встретить восход солнца дома, на не испачканной еще немцами советской земле.

Что за отсчет времени «решающие минуты», «день», «ночь», «утро» - все одной меркой. Да, таков был отсчет времени. Мы чувствовали, что для выхода к своим надо приложить последнее усилие. Последний день, последняя ночь, последнее утро. Но вместе с тем, мы каждую минуту могли быть обнаружены и тогда на нас обрушился бы бомбовой и артиллерийский удар немцев. И... поминай, как звали... Целый день пролежали в лесу. Заняли круговую оборону. В 12.00 наше отделение было занаряжено в боковое охранение. Меня и красноармейца Голована выслали к дороге дозорными. Стоим мы с ним, прижавшись к стволам сосен и наблюдаем за немцами (не пойдут ли они прочесывать лес?) Затаились мы в метрах 150-и от дороги. Нам видно все, что делается на шоссе, а немей не видит, что делается в лесу

Немного поодаль, глубже в лес залегли остальные наши товарищи по отделению, по наряду. Между нами зрительная связь сигналами.

Мы видим, как немецкие колонны подминают под свои колеса и гусеницы метр за метром, километр за километром нашу дорогу, а с ней и нашу землю. Видим, а сделать ничего не можем. Что сделаешь, когда в руках лишь винтовка с последними обоймами патронов. А у них... Идут танки, бронетранспортеры, пушки. Сплошной гул, гомон, пулеметная трескотня. Вдруг справа на дороге слышится залихватская песня. То

вермахтовцы, сидя в бронетранспортере, забыв, что они на войне, так разошлись в безудержном веселье (выпили, видно, изрядно), так орут, что я в едва-едва не разрядил по ним обойму из винтовки. Соблазн был, но, наверное, одумался. Пели они свою любимую солдатскую. Рожи у них раскраснелись, каски набекрень, руками машут... Как на карнавале! Кое-какие слова я понимал, но связать вместе не мог: ... «девочки» ... «лето»... «прошу»...

- Чего им так весело, что они орут? – спрашиваю шепотом у своего напарника, у Голована. – Что это у них, походный марш что ли?

В ответ на мой шепот, Голован как захохочет. Да так громко, так раскатисто, как жеребец, когда он своим ржанием сбивает косяк кобыл. Я опешил. Что с ним? Немцы, приняв этот гогот за сигнал партизанам, - открыли по лесу ошеломляющий огонь. Но... все обошлось благополучно. Проехали. Сзади наваливается новая колонна. А он снова: ... «девочки» ... «лето» ... «прошу»...и залился хохотом на весь лес. «Что ты ржешь? Выдашь!» - обрушился я на него. Но куда там, - ему все ни по чем. Он мечется от дерева к дереву. Не унимается, из-подтишка поглядывает на меня зло, с ненавистью. Я крутанул затвор: боек на взводе! «Убью! Сволочь!» Подействовало. Замолчал. Сник.

Командир отделения, заметив у нас суматоху, перебранку, спрашивает приглушенным голосом: «Что там у вас?» Голован, опережая меня, подает условный знак - вскидывает винтовку прикладом вверх - «опасности нет».

Когда нас сменили, и мы шли в глубь леса, Голован был таким добреньким, таким разговорчивым, что я подумал: «Звал немцев, да не получилось. Надо что-то делать. Но что?» А он изливается, в дружбу лезет, немцами возмущается. Перевел мне песню солдат. Похабной и бессмысленной показалась она мне тогда.

Недавно в журнале «Дон» я встретил перевод одного куплета ее:

Девчонок наших

Давайте спросим:

Неужто летом

Штанишки носят? (И.Бондаренко. *Такая долгая жизнь*. Ж. «Дон», 1979).

Помнится мне эта бессмыслица не сама собою, не слова и мелодия (хотя в наличии мелодии ей не откажешь). Нет, Мне она напоминает о той обстановке, о тех днях, когда мы «шли худые, шли босые...» и не знали: «где она Россия, по какой рубеж своя?» И о том, как везде и всегда надо быть бдительным, не на словах, а на деле. О том, как заклятый враг шел рядом с нами, кушал из одного котелка с нами, а мы «хлопали ухами». После я понял меру нашей беспечности и то понял, что лишь близость к нам красноармейцев отделения не позволили Головану тогда

осуществить свой черный замысел (меня подстрелить, а самому перебежать к немцам).

Наконец-то наступила ночь. Комвзвода распределил, кому нести раненых, ящики, проверил, все ли лежим у дороги. Ждем удобного случая, чтобы незамеченными пересечь дорогу и уйти подальше в лес. Два отделения высланы к дороге. Сигнал: «опасности нет! Вперед!» Мы устремились через шоссе в лес. Идем. Бежим. По-разному было. И вдруг по нашим следам, а затем чуть-чуть левее, рвутся снаряды один за другим, залп за залпом. То стрелял немец вдогонку нам. Бил он долго и яростно. Но лишь вначале по нас, а затем в стороне от нас. Хорошо, что мы пошли не на северо-восток, а на юг, а то было бы нам на орехи.

Но вот: «Стоп! Кто идет?» И пошло и поехало... «Кто? Откуда?» ... Но главное - наши, а остальное приложится. То встретилось нам боковое охранение наших кадровых частей, отступающих на восток. Шли они в полном порядке. Но видно было, как превозмогая усталость, красноармейцы буквально на последнем дыхании, - нагруженные под завязку, то мешками, то ящиками, то ранеными, - спешили пройти эту мышеловку, выйти к подготовленному рубежу развертывания... Они ведь понимали, что, если на этой дороге их застанет утро - не сдобровать им: искромсают их пикирующие бомбардировщики немцев.

А нас они не спешили признавать за своих...

Пока суд да дело, мы отделение за отделением, взвод за взводом просочились через дорогу в лес. Комроты сказал: «Надо уйти подальше. Здесь пахнет жареным. Колонны вот-вот скрестят шпаги...» Командир взвода, продолжая его мысль, добавил: «Если они не успеют затемно выйти - тут будет не бой, а избиение»

Нас ведут дальше. Привал. Разобрались, а в роте нету пятерых красноармейцев! Где они? Погибли или ранены во время артобстрела, задержаны охранением колонны, через которую мы прошмыгнули, или отстали в пути из-за усталости?..

«Где твои люди?!» - кричит командир роты на нашего старшего сержанта, командира взвода.

«Где твои красноармейцы?!» - кричат командиры взводов на командиров отделений. Да и как же иначе. Серьезное чрезвычайное происшествие (ЧП)! Отставания были и раньше, но это было в боях, при сильных обстрелах, а сейчас же ничего такого не было. Сейчас, когда до своих «рукой подать». И такое!

У нас в отделении не оказалось Голована. Я тогда сразу подумал: «Сбежал!» Вспомнились все его разговоры, все его выходки. Стало ясно. Но почему же до этого было неясно?.. А может быть я не прав. Может быть он ранен или убит при артналете? ... Снова сомнения.

Командир роты приказал командирам взводов выслать поисковую группу во главе с командиром 2-го отделения 1-го взвода. От нашего отделения в эту группу попал Осадчий. Ушли. Пошли и мы на восток. Догнали они нас лишь под утро: «Нет нигде никого» - доложили они. «На «нет» и спросу нет», - загомонили красноармейцы. Да, думаю, с нас-то стриженных спрос короток, а с чубытых, с командиров – спросят. Мы, как-будто не виновны ... Как же, бежали без оглядки, лишь бы своя голова была цела. Самокритика нелिцеприятная. Думали, даже кое-когда говорили о бдительности, а на поверку – лопухи лопухами.

До города рукой подать. Приготовились идти на прорыв немецкого переднего края, с его тыла. Вооружение: винтовка со штыком, по 15-и патронов, по 2-3 гранаты.

Нас остановили. Оказывается, мы подошли к переднему краю нашей части к заранее подготовленному рубежу обороны. Жиденьким он мне показался, когда мы шли через него. Но вот же - это уже дело. Организованная оборона! «Верхи» быстро договорились. Мы следуем по проходам в минных полях, через ячейки боевого охранения, через окопы, траншеи, ходы сообщения, мимо ДЗОТов и блиндажей, ОП сорокопятак, мимо...

Для нас теперь все «мимо». Все! Мы дома!!! Вышли организовано с окружения, со звездочками. Многие обнимаются, турсучат друг друга... Красноармеец - башкирин, стоя на коленях, лицом на восход солнца, сложив руки по-своему, по-башкирски, то поднимет их вверх, то приложит к груди, шепча чего-то себе под нос (или разговаривает в мыслях с кем-то), целует землю. Молился он по-своему, что ли? Не знаю. Хотелось было поозорничать, крикнуть: «Рахимцев! Какому богу кланяешься?» Но вовремя удержался, и правильно сделал. Смотрел я тогда на него и думал: «Вот ведь какой он, наш человек. Ничем не проявился ты патриотом, а смотри же, какими гранями высветился. Бывают же ситуации, когда даже пережитки, слепая вера в какого-то аллаха, слепое подражание обычаям предков, так раскроют, обнажат внутреннюю красоту человека, его патриотизм, его преданность Родине, что никакими строками автобиографии, никакими выступлениями он не рассказал бы о себе более достоверно. Хотелось мне подойти к нему пожать руку в знак уважения и потом все же сказать: «Уж если и следует кому молиться, кого благодарить, так это твоего земляка с красной звездой на фуражке и шпалой в петлице гимнастерки – нашего батальонного комиссара. Хотелось подойти, но снова воздержался. Зачем вмешиваться мне в его святая святых: они ведь хорошо служат делу защиты Родины. Убежденного убеждать – только портить. И после, я уже по-другому смотрел на товарища Рахимцева, уважал его, как надежного товарища.

Пехота поделилась с нами хлебом, кашей перловой и чаем. Я уснул мертвым сном. В таких случаях иногда говорят «богатырским сном», но какой из меня богатырь?!

Разбудили немецкие бомбардировщики. Их гул все нарастал и нарастал. Сколько их было! Не единицами, а десятками вели счет им. То немецкий 80-й авиакорпус пикирующих бомбардировщиков шел на бомбежку наших городов и ближайших подступов к Ленинграду. Я впервые увидел в нашем небе столько вражеских самолетов.

К общему гулу, к резким звукам выстрелов зенитных батарей, вскоре прибавился раздражающий душу вой пикировавших бомбардировщиков. Они как со снежной горы из небес, вдруг устремлялись вниз, выбрасывая из чрева бомбы, а спереди – пляшущие огоньки пулеметных выстрелов. И бомбы, и пулеметные очереди они обрушили на город Гатчину, на наших людей, на Дворцовые парки, на дворцы, жилые дома, на наши войска. Оборонявшие подступы к Ленинграду и на ту колонну наших частей, что спешили выйти из леса к городу.

Все скрылось в огне, в дыму, в пыли. Что же случилось с дворцами, с шедеврами зодчества, с веками накопленными богатствами, с трудом многих поколений наших людей. Что случилось с жителями города?! Что случилось с нашими товарищами, которые только что вышли из леса, только что ступили на землю, не познавшую еще сапога захватчика?!

Лежал я тогда в ровике, благодарил судьбу, что нас миновала их участь, и думал: «Да когда же будет конец этому. Долго ли немцы будут хозяйничать в нашем небе. Этак ведь они обнаглеют до того, что вот так же налетят на Ленинград, а там и на Москву. Не должно быть этого!» А немцы изуверствуют. Вьются, мечутся, пикируют, бомбят и бомбят. Им конца и края нет. Сколько же их у фашистов?! Какая сила!

И надо же! В такой катастрофической ситуации, у меня в памяти возникла картинка нашей Лопатины. Вот мы, орава ребятишек (Павло Курочкин, Спиридон Чеботарев, Семен и Илларион Чеботаревы и множество других), несем на санках с горы от самой Керенки до ключей и родниковых колодцев у моста. Несем не сидя, а стоя, обязательно стоя и во весь рост, выгнувшись назад, натянув веревки и в снежном вихре, бьющем в глаза, скатываемся вниз к мосту, а, выйдя из «пике», катимся по мосту, а иногда и под мост, а еще хуже в никогда не замерзавшую грязь, что ниже ключей.

Попробовал бы ты, Ганс, такой искус – жидок ты на такое. А тут, видишь ли, катится по воздушной горке на мягкой подушке сиденья, да еще и орет, как сумасшедший, включив сирену. Дал бы мне, да не только мне, тысячам наших ребят такие машины, мы показали бы тебе, как надо летать, как надо драться. И покажем. Сталин сказал, что зазнав-

шийся враг скоро убедится в нашей непобедимой силе. А раз товарищ Сталин сказал, значит так и будет. Будет!

К обеду возвратились наши разведчики из Гатчины. Они принесли новость. Оказывается, что штаб нашего полка и все другие подразделения и службы полка из-под Луги, со станции Толмачево, эвакуировались давным-давно железнодорожным товарняком. Здесь в Дворцовом парке они сооружали оборонительные объекты. Попали под бомбежку. Понесли большие потери, и в панике убежали в город Пушкин.

Нас увидеть они уже и надежду потеряли. А мы – тут как тут. Правда, не все, а лишь часть из тех, что были под Лугой. Но все же, и это хорошо. Значит, и наш путь теперь в город Пушкин.

И пошли мы навеселе, налегке (раненых отправили в медсанбат), поспешая, - чтобы немец не настиг, - в город Пушкин.

Вот и город: красоты неопишуемая! Пришлось нам побывать в Гатчинском парке еще раз. В эту же ночь и утро следующего дня, когда нас десять красноармейцев во главе с комвзвода послали разведать обстановку, а если удастся, то и разыскать место штаба, найти начфина и мешок с деньгами (касса с месячным денежным довольствием полка) и другие ценности и документы полка.

Вылазка наша была удачной. Наш мешок с деньгами и многое другое. Но начфин, - увы, - был мертв. Он был ранен в живот. Осколком ему разворотило внутренности. Он – бедняга, от места ранения до котлована полз с мешком денег в одной руке, и с кишками – в другой. Так и оставил след содержимого и длинную вереницу кишок по пути к укрытию. Мы забрали его документы. Часы, которые еще шли, с руки не сняли. Похоронили его и других наших в братской могиле... и деру.

По дороге в Пушкин немцы нас бомбили и обстреливали с воздуха дважды. Встретили на своем пути много машин, техники (разбитых, брошенных), но одна машина поразила нас. В ней были какие-то ценности и деньги. Двое наших набили карманы червонцами. Наш младший лейтенант и еще какие-то командиры отобрали у них деньги, а затем повздыхали, повздыхали, да и сожгли и деньги, и машину.

Какие ценности гибли! Ни сосчитать, ни описать. Тогда я убедился, что главные потери армии несут не в боях, а при бегстве, при паническом отступлении.

Мысль у меня бьется: да сколько же можно отступать... да когда же это кончится...

...А Петр Осадчий бубнит, как назойливая муха:

-Ты знаешь, где мы были?

- Знаю. У немцев в пасти.

- Нет. Ты знаешь, что это за парк, где мы закопали наших...



- Знаю. Тот откуда убежали и мы, и другие горе-вояки.

- Нет. Я не про то. Ты знаешь, что все это раньше принадлежало Наталье Алексеевне, сестре Петра Первого. Потом Григорию Орлову. Потом царю Павлу. Ему подарила, когда он еще не был царем, царица – мать, Екатерина Вторая. Павел основал тут свою резиденцию и переименовал в город. Он тут и понастроил дворцы, пруды, парки...

- Люди русские строили, а не он, - прерываю его экскурс в историю.

А он:

- Это, где мы были – на все. Парк тут огромный, больше полтыщи десятин. Царь Павел...

- Да отвяжись ты со своими царями. Лучше рассказал бы, как «временный» сюда прибег в 17-м, переодевшись в костюм матроса.

- Будешь слушать? - обрадовался Петр, что ему представится возможность высказаться...

«Во-о-оз-дух!» - подают все, кому надо и не надо сигнал воздушной тревоги.

- Ты бы лучше сказал, сколько мы с тобой будем бегать от немца?

- Этого я не знаю.

- Ну, так лучше не трави душу. Сопи себе под нос, - срывая на нем свое зло на немца, грубо обрываю охотника до рассказов про царей и прочую историю.

Идем в город Пушкин.

Город Пушкин. День теплый, светлый. Куда ни глянь – красота невероятная. Дворцы, парки, цветники, памятники, скульптуры... И все это создано коллективным гением русского народа. Да и сам город носит имя гения. Так и завязался в моей памяти узелочек чего-то светлого, прекрасного.

Памятнику А.С.Пушкину. Мы проходим рядом. Как-то неловко, стыд донимает. В пронизательном взгляде, в слегка развернутых и, кажется в пренебрежении ко мне сомкнутых его губах, мне видится укор, порицание. «Куда, куда... казак стремишься? Не на Дон ли? А знаешь ли: «как прославленного брата, реки знают тихий Дон»? Там тебя не ждут таким. Не готовит тебе «Дон заветный... сок кипучий искрометный... Не-ет! Не заслужил ты этого». «Трижды я побывал на Дону. Любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности», - вспомнил я одно из писем Пушкина.

...Ополченцы, окружившие потом нас, дотошно выпрашивали, как там было... у Луги, после Луги... Правда ли, что немец, (почти каждый), вооружен автоматом, что они не идут, а мчатся в танках, в броневиках, бронетранспортерах, что у них всего этого видимо не видимо, что...

Отвечаем мы им, что во всем этом много правды (иначе мы были бы не здесь, не в Пушкине, а в Луге и западнее, далеко западнее), но и много неправды. Что бить немца можно (в этом мы сами убедились) и нужно: этого требует Родина, Сталин.

Пожилой ополченец, - вероятно бывший работник культурного фронта, - прямо-таки с захлебом рассказывал нам о своем любимом городе. Чувствовалось, что он сын города, что он и город - едины, и разъединить их может только смерть.

Он со знанием дела и любовью говорил о дворцах, памятниках, о людях, создававших его и ныне трудящихся в нем, об ополчении и ополченцах. При этом он то и дело менял название города. На вопрос красноармейца - башкирина: «Почему город имя разный?», он не без удовольствия провел нас по дебрям старины. «Имя А.С. Пушкина, - говорил он, - городу присвоено в 1937 году (в связи со столетием со дня гибели поэта). До 1937 года его называли Детским Селом. Так решила революция, Ленинский наказ, ее лозунг: все лучшее - детям. А до этого, более ста лет, это было Царское Село. Здесь во второй половине прошлого века была загородная царская резиденция. А началось с того, что в 1708 году эту территорию (города тогда, конечно, не было) царь Петр Первый подарил своей жене Екатерине Первой. От Петра Великого ведем родословную! Добавлю еще, что весной 1917 года царкосельцы держали под арестом самого Николая второго. Не царь славил этим трудом город, а революция, изолировавшая царя, прибавила свою дань к славе города. А имя поэта - от того, что с 1811 по 1817 гг. юный Пушкин учился здесь в Царкосельском лицее. Здесь вырос Пушкин. Видите, какой наш город - история!» - воскликнул он.

Ополченец разволновал и себя и нас... Из предложенного ему красноармейцем - башкирином кисета, закурил, затянулся дымом башкирского самосада, и твердо, решительно сказал: «Да разве такую красоту можно потерять, да разве можно допустить сюда немецкую свинью? Нет, нельзя! Лучше умереть! Все так думают. Весь город в ополчении. Дома лишь дети и старики остались, да и те помогают нам всем, чем могут. Нельзя нам допустить сюда немца. И не допустим!»

Он потянул дымок в себя, с удовольствием от дыма и, наверное, от того, что ему представился случай излить все то, чем он жил и о чем думал. Крякнул, встал, распрощался с нами и пошел к своим ополченцам.

Когда я читаю у Твардовского строфы о том, что

... Россию мать-старуху

Нам терять нельзя никак.

Наши деды, наши дети,

Наши внуки не велят, -

То всегда в моих глазах, у меня в голове, воскрешается благородный образ пожилого ополченца из г. Пушкина, его убежденность, его готовность к самопожертвованию во имя защиты родного города, во имя защиты России.

В городе у нас произошли два события, которые долго и жгуче помнятся. Во-первых, нашего красноармейца, того, что набрал денег в разбитой машине, вызвали в штаб полка, арестовали и посадили на гауптвахту. Куда его направили с гауптвахты, я не знаю, но в роту он не возвратился. Во-вторых, вечером следующего дня (это на третьи сутки после нашего выхода к своим) в роте появились трое наших красноармейцев из тех, что отстали. Оказывается, они уже побывали у немцев. Увел их в плен Голован. У него, говорили они, был документ. Голован и его единомышленники остались служить немцам. Этим же бедолаг из Башкирии отпустили домой. Они наперебой рассказывали, как хорошо у немцев. Немцы их накормили, выдали папиросы, одели в новое, - мы то видели какое оно «новое», - бэу, т.е., бывшее в употреблении, снятое с расстрелянных красноармейцев, - и выпроводили. «Километров тридцать, - хвастались они, - нас даже везли на легковой, а потом высадили, и указали, куда идти.» Сказали: «Раз ваши родные в Башкирии, то идите домой». Голован и его немецкие друзья велели им рассказывать «правду» о немецкой освободительной армии, что немцы хорошо обращаются с пленными, жителей западных районов отпускают к родным, а тех, у кого родные пока еще под Советами, направляют на работу - куда хочешь. Хочешь на завод - иди на завод, хочешь в хлебробы - иди в хлебробы. Даже в «русскую» армию и в национальные полки принимают...»

Все мы понимали, что это - ложь, провокация, а все же слушали. Тогда ведь мы не знали о концлагерях. Не слышали про Освенцим, Майданек. Мы не знали при зверстве фашистов, про их цели. Существовали как бы два немца: немец враг, зверь, изверг и немец-труженик, немец Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Карла Маркса. Немец из РотФронт Тельмана... Старший сержант не выдержал, вскочил, при этом еще более взвинтил свои нервы и каким-то страшным голосом крикнул: «Сволочи! Предатели! Немецкие холуи! Встать! Руки назад!..»

И отправили незадачливых попугаев к комиссару и командиру роты. Там долго не задерживая, передали их органам контрразведки, как шпионов, провокаторов. Другого о них ничего не скажешь. Они предали родину в самое трудное для нее время.

А Голован? Что ж о нем я могу сказать. Ушел он от нас к своим. Человек, патологически озлобленный на все наше, советское, нашел оружие мести - фашистское оружие. И, конечно, будет мстить. Будет изде-

ваться над советскими людьми, которые волею военной судьбы оказались в немецкой неволе.

Глубоко и болезненно переживали все это комиссар и командир нашей роты. Как же иначе. Даже меня, рядового красноармейца и моих товарищей (Осадчего, Дурасова и других) случай с Голованом и его кампанией обескуражил и оставил тяжелое воспоминание. Видно было, что они терзали сами себя за случившееся ЧП в роте. Да и наказал их командир полка – под завязку.

Были у нас и другие случаи отставания при отступлении, пропадали без вести - всякое случалось: война ведь, бои, но такое – впервые. К счастью, у нас в роте такого больше не повторилось.

.....  
**Из истории боев на подступах к Ленинграду:**

*«... с 22 августа по 7 сентября велись напряженные бои на Ораниембаумском направлении. Враг был остановлен северо-восточнее Копорья».*

*«... по дороге Москва – Ленинград... противник 25 августа захватил Любать, 29 августа – Тосно. 30 августа вышел на реку Нева и перерезал железнодорожную связь Ленинграда со страной».*

*«... Прорвавшись 8 сентября через станцию Мга на Шлиссельбург, немецкие войска отрезали Ленинград от суши».*

*«... 17 сентября немцы оккупировали город Пушкин».*

*«Прорыв немцев завершился блокадой Ленинграда».*  
.....

Наш полк, как и другие части 54-й армии генерала Хозина, немцы отрезали от Ленинграда, толкнули на юго-восток к Волхову. Слагаемые сил войны заставили нас делать зигзаги столь вычурные, что не только сейчас не помню, но и тогда не всегда знал, где были мы, где наши, где враги.

Всего сутки мы задержались в г.Пушкине. А потом... Снова в руки винтовки, топоры, пилы, лопаты и вперед. Помню лишь, что оказались мы на реке Волхов, точнее на юг от реки, где-то между ст.Кириши и г.Волховом.

Запомнилось мне, как мы строили дорогу, вернее, прокладывали настил из сосен и елок по болоту.

Рано утром нас поднимают по тревоге. Быстрый завтрак. «Становись!» полк получил задачу проложить дорогу в лесу через болото. Готовность к 20.00. Наша рота – на настиле. Другие – на подготовке лесоматериала. Одни пилят, валяют сосны и елки подальше от дороги, чтобы не демаскировать ее. Другие обрабатывают их. Третьи подносят. Если бы кто-то поглядел на нас сверху, то он, наверное, увидел бы картину, схожую с картиной бесконечного движения муравьев. Разница, правда, была бы. Муравьи выбирают тропки в сухих местах, а у нас –

болото. Наш взвод выкладывал полотно дороги. Как? По-разному. Основная схема: бревна вдоль, а на них второй ряд поперек, а сверху по бокам еще по бревну. Там же было место, где трясина глубокая, приходилось укладывать не в два, а в три, а то и в четыре наката. Главное – крепление. Крепили скобами, штырями, проволокой, а в местах более ответственных – тонким тросом.

Одна из неприятностей – чем глубже трясина, тем, как на пакость, чаще осмыгаешься и ... по колено, по... по самое некуда – в жижу. Уже к обеду – нас не угадать: бегемоты ли или другие какие-то болотные чудовища. Но все это не беда. Беда пришла тогда, когда немец открыл артогонь. Бил он. Правда, не прицельно, а – как говорят артиллеристы, – по площади. Но где бы снаряд ни упал на нашу площадку – он попадал в цель. Особенно много бед приносили те снаряды, которые, встретив на своем пути дерево, рвались в воздухе и тучей осколков поражали людей. Те же снаряды, которые не попадали в деревья, а бухали в болото, уходили глубоко в него и там, в глубине, разорвавшись, глухо ухнув, поднимали ворох жижи, земли, корней и пр. они мало приносили нам потерь. Но вот, три снаряда упали на полотно. Что они натворили! Тот, что упал на сухое – еще туда-сюда, а вот те, что в болоте – разворотили наш настил так, что к нему ни подойти, ни подъехать. Но «глаза страшатся – а руки делают» особенно, когда приказ: «Бего-о-м!! Один снаряд так накуролесил, что пришлось заново, рядом делать обвод. А тут еще задержка в подносе бревен и стволов: роты понесли ощутимый урон, и таскать некому.

Осталось 15-20 метров. На полотне – более десятка командиров всех рангов: проверяют настил. Время то 19.00! один час остался. И тут немец, как даст тяжелым... Один, другой, третий... Мы – кто куда. Комроты с пистолетом в руках: «Назад! По местам!»

Немец бьет, а мы укладываем. Эти последние проклятые метры вымотали из нас последние силы. На полотно снаряды не попали, а вокруг бед натворили.

22.00. Мы еще укладываем, подгоняем, укрепляем бревна по бокам, а по лесу, к нашему настилу уже подходят первые машины. Уложились во времени. Но выдержит ли настил, не расползутся ли бревна? Вопрос страшный: на войне борьба за качество – борьба за жизнь. За жизнь тех, кто пойдет по дороге, и тех, кто ее строил. Наш комроты на взводе. Вдруг расползется дорога, важнейший наш «боевой объект», тогда, кому-кому, а ему несдобровать. Да и как же иначе. Ведь срыв наступления!!! Вот и стоял весь полк с бревнами наготове. И везде, где был сильный прогиб или перекосяк полотна – подбивали, подкладывали... А полотно, проклятое, змеюка коварная, то прогибается, уходя в жижу, то

одной стороной утонет, а второй подымится, то доски по колее на стыке не стыкуются. Еще затемно, далеко до утра, боевая часть прошла. Пошли мелкие группы машин с боеприпасами и пр.

На дороге оставили регулировщиков да ремонтников, а нас – на другой объект. Пока мы шли, вроде бы ничего, а вот когда сделали привал – беда. Октябрьское утро на Волхове – не то, что на Черноморском побережье: ветер, холод... А мы мокрые. Мокрые, уж если не с головы до ног, как говорится в таком случае, то с ног до пупа – это минимум. И огонь развести нельзя: демаскируемся.

.....

Трое суток сооружали объекты на новом оборонительном рубеже. Его заранее готовили на случай прорыва немцев. На четвертый, примерно в поздний обед, смотрим, а к нам, мимо нас отступают наши части. И пошло: кто во что горазд: «Немцы прорвались!» - «Немцы обходят!».

К вечеру мы уже у реки Волхов. Дождь, осенняя слякоть. Не знаю точно, но, по-моему, случайно нам подвернулась баржа, открытая посуда, буксируемая вниз по Волхову маленьким пароходиком.

Погрузились. Пльвем. Дождь хлещет. Укрытия никакого. Но не в том беда. Беда шла по пятам. Немец шел к Волхову и вдоль Волхова. На каждой пристани долго выясняли: кто есть кто. Кто мы (не немцы ли?) и кто они, что нас окликали (не немцы ли (?), сложилась обстановка такая, что немец может преградить нам путь в любой момент. Светает.

Команда «Разгружаться!» И... в лес. На земле, да еще в лесу чувствуешь себя как-то увереннее, чем в плавучей ловушке.

.....

Наш полк в окрестностях города Волхова. Каждая рота имела свое задание по сооружению оборонительных укреплений, дорожных объектов, или работы на дороге.

Немец наступает. Он все ближе и ближе подходит к городу. Ему нужно замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда, втиснув в него (в кольцо окружения) нас, наши армии, оборонявшиеся вдоль реки Волхов. Про эти армии А. Чаковский в уста своего героя вложит потом такие слова: «...Дух отступления – вот что я ощутил там. На сколько продвинулся немец, на сколько отступили мы – вот о чем говорят бойцы, командиры» (А. Чаковский. Блокада. Кн.4. 1979).!»

Наш взвод на охране железнодорожного мота через р. Волхов. Вначале мы думали: «Вот повезло!» Но... вскорости стало не до отдыха. Мост-то этот – важнейший военный объект! На него немцы пытались высаживать парашютный десант. Не выгорело! То и дело вылавливали группы диверсантов.

А бомбил его немец, - трудно сказать сколько раз, - почти ежедневно, а были дни, что и по нескольку раз в день. Наши зенитки буквально захлебывались, заглушали все своими выстрелами, отгоняя «хенкелей» (хейнкель 111, двухмоторный бомбардировщик). Небо было расчерчено дымными полосами сражавшихся наших «ястребков» с немецкими «стервятниками».

- Веселое место досталось нам. Не заскучаешь! - подшучивали красноармейцы. - Веселое, до чего-то не весело...

- Воздух! - подают сигнал постовые.

- В укрытие! - подает команду комвзвода.

Вот тут мы, - те, кто не на посту, - и показываем свою прыть. Бежим в ровики подальше от моста. Там-то и находит нас бомба. Многих мы потеряли там. Как раз там и был ранен мой ближайший боевой друг Леня Дурасов.

Что за наваждение напало на гансов. Бомбят всех и вся, кругом моста - все в воронках, а мост стоит, как ни в чем не бывало. Ни одна бомба в пролеты моста не попала. Мы много раз, завидя «хенкелей» или «юнкерсов», бежали прятаться в укрытие не от моста подальше, а под мост, под защиту его каменных боков, у самой кромке воды. И ничего. Ни одна бомба не упала даже рядом, а кругом - все вздыблено. Так и не разбил тогда немец нашего моста. Не знаю, как потом. Когда нас сняли с моста, нас послали на передний край, на помощь нашей пехоте, истекающей кровью в боях. Немец валом шел на прорыв. Наши части несли большие потери, но стояли насмерть.

Новый командующий 54-й армией генерал-майор Федюнин удивительно быстро поднял боеспособность частей, подчистил тылы армии, дивизий, полков - под метелку, и послал на передний край. Все поставил на ноги. Всех бросил на защиту города, его сокровищ. Под эту «метелку» попали и мы.

Бои были жестокими. Но при всем при том, мне почему-то они не показывались более трудными, чем бои под Лугой и на путях-дорогах к Гатчине. Под Волховом была организованность, жесткая боевая дисциплина, открытая борьба. Это была борьба равных, а не «бег с препятствиями» слабого, растрепанного от до зубов вооруженного, нахального врага.

«А как же иначе, - говорили бойцы после отражения очередной атаки фрицев, - Мы же - федюнинцы!» Твердую руку генерала как-то сразу почувствовали все: от генералов и полковников до рядовых. Почувствовали и поверили в него. А это уже победа! И победили. Немца от Волхова отогнали.

Приятно вспомнить, что и мне довелось защищать первенец ле-

нинского плана ГОЭЛРО – Волховскую ГЭС, а также завод крылатого металла – Волховский алюминиевый завод, железнодорожный мост через р. Волхов на Ленинград и многое другое.

.....  
В декабре нас передислоцировали под город Тихвин. Вернее, за город. Город почти весь оккупирован немцами. Они пытаются наступать дальше, отнять окраины и двигаться на северо-восток, к Ладожскому озеру, на сближение с финнами. Им надо замкнуть второе кольцо окружения Ленинграда. Им надо задуть Ленинград голодом, блокадой!

Какая задача ставится перед нашим ДЭПом и подразделениями полка я не знаю. Полк-то дорожно-эксплуатационный, казалось, на дорожный объект прибыли, но нашу роту сходу посадили в окопы. Тут видно проявил свою инициативу пехотный старший начальник, чувствуя слабинку своего участка обороны. Задача – не пропустить врага.

Но ... немец накрыл нас таким огнем, что ни у нас, ни у соседей-пехотинцев не осталось никаких средств к обороне, кроме своих трехлинейек. Немец поднялся в атаку. Мы стреляем, а он идет, ползет по снегу. Мы стреляем, а он прет, прет как сумасшедший. Ему приказ: выгнать русских в лес на мороз. И мы, вслед за пехотой – драпанули. Вы спросите, что же ты пишешь о себе такое? А чего иного я могу написать, если было так. Что же было делать, когда немецкая сила пересиливала нашу? Поднимать руки? Сдаваться в плен? Нет уж, такое мне не подходит. А драться было нечем. Оставалось только отступать и надеяться, что мы еще соберемся с силами, вооружимся, мы еще покажем немцу! А пока... пока бежим, согревая окоченевшие пальцы рук о ствол винтовки, желая собрать с него все тепло стрельбы, запасть им впрок... Идем на северо-восток. Куда? Вот на этот вопрос я смог бы тогда ответить так: «Куда глаза глядят» или еще так: «Туда, где Макао телят не пас». Идем в ... в стужу, в снег, в звенящий от мороза лес. Промерзшие деревья «стреляют», снег скрипит под ногами, под обледенелыми подошвами валенок так, как-будто мы идем по паркету в новых сапогах со скрипом. Мороз хватает своими миллионными ручищами за все, что есть на мне, у меня, во мне. Кажется, что проникает до косточек... А уж нос, руки, ноги – и не говорю.

Страшное дело война зимой! Особенно (точнее), или тогда, когда отступаешь. Обморожение – бедствие роты. К тому же, кое-кто из хитроумных, брал стужу в свои союзники: обморозился – и списан в тыл. Чего же проще? Вот их-то и списывали, не редко, в расход, как за самострел. Другого выхода у командира не было. Но при всем при том, обстановка часто складывалась так, что не в силах человеку преодолеть стужу и ... - обморожение. Особенно тяжело было раненым.



Я, да, наверное, и все мои товарищи были буквально на последнем вздохе... Но упадешь – замерзнешь.

...Сейчас бы нам, - многого не надо, - горячего супу, да теплую землянку, и ... заснуть. Как заснуть? Сидя, стоя, лежа – как угодно, лишь бы втиснуться, лишь бы представилась возможность, точнее, землянка, а там место найдется. Землянка - не болото, где упал, там и спишь. Странное чувство тогда овладело мною, - в первый раз за всю войну: дальше дороги нет! Здесь наша армия должна остановить врага. Не пойдет же, не сможет пойти в лес немец, не сможет. Не выдержит того, что мы выдержим. Нас остановили... Видим, чувствуем: есть порох в пороховницах. Будем бить немца. Будем!

.....  
**Из истории Великой Отечественной войны.**

*«... 9-го декабря 1941 года войска 4-й армии во взаимодействии с 54-й армией Ленфронта и отдельной 7-й армией освободили город Тихвин, перейдя к преследованию отступающего противника».*

*«...11-го (17) декабря образован Волховский фронт под командованием генерала армии К.А.Марецкова».*

*«В течение 795 дней и ночей сражались войска Волховского фронта, упреждая намерения противника штурмовать г.Ленинград»*

*(На Волховском фронте. Воспоминания ветеранов. Лениздат. 1978.  
К. А. Меранков. Волховский фронт).*

.....  
Лесной треугольник Тихвин – Волхов – Кириши стал нашим местообитанием в декабре 1941 – январе 1942 гг. Восстанавливали разрушенные дороги, строили новые (зимники), проталкивали машины по ним (бульдозеров-то не было), строго следили за безукоризненным выполнением приказа по маскировке; приходилось быть и регулировщиком движения, стоять на перекрестке; нести охрану дорог.

На войне, конечно, это не самое трудное, не шло в сравнение с пехотой, артиллерией и другими родами войск, но мы, как это ни странно, несли большие потери в людях. Бомбежки, артобстрелы противника, обморожение, болезни – все это косило, выводило из строя наших людей.

Были такие посты регулирования, на которых трудно было уцелеть. Там направо пойдешь – под артобстрел попадешь, налево – под бомбежку, а прямо пойдешь – немцу в лапы угодишь. Дело-то было в том, что фронт тогда был не сплошной, не установившийся. Кое-где наши продолжали наступление, начатое у Тихвина, а немцы контратаковали. И было приказано во что бы то ни стало восстановить потерянное, захватить вновь Тихвин и город Волхов, а с ними и замкнуть второе кольцо окружения Ленинграда.

... Студеный день. Я – на посту регулирования. Товарищи мои в

землянке. Забились туда и носа не кажут, спасаются от мороза и артобстрела. Пост не то, что на шумных перекрестках: тут – смотри в оба. Винтовка – в боевой готовности.

Вот тогда смотрю, а со стороны переднего края ко мне мчится, поднимая снежную волну, легковой автомобиль. Мчится, и останавливаться не собирается. Не первый такой. Не очень-то им приятно останавливаться здесь, где хотя и редко, но кладет свои снаряды немецкая артиллерия. А уж о «мессерах» и говорить нечего: частые гости. Да и мне не очень-то охота снимать рукавицы. Но в секунды приближения машины бросилось мне в глаза необычное поведение шофера.

Красный флажок вверх: «Стоп! Предъявите документы!» - «Какие тебе еще документы?! Видишь – с передовой!» - возмущается командир, сидящий в машине на заднем сиденье. Шофер попытался было предъявить свои, но его одернул рядом сидевший детина в красноармейской форме одежды. Шофер, при этом смотрел на меня какими-то странными глазами, а вокруг губ бегали складки – морщинки и руки... руки не находили своего места. «тут что-то неладное», - мелькнуло в моей стриженной кубышке. Тут надо действовать. Но как? Их пятеро, а я один. И наши, как напакость, забились в теплынь и носа не кажут из землянки. И машины не едут, и никого – хоть шаром покати. Вот пропасть!

«Предъявите документы!» - требую я, собрав в голосе весь свой дорожно-солдатский авторитет. Тот, что сзади подает мне удостоверение личности. Но не отдает, а лишь показывает в развернутом виде. Глянул я на него, а там – батюшки! новенькое-новенькое. Присмотрелся – старое, сентябрем датированное. Где же ты был, фронтовик?! Что-то не так.

Требую документы от шофера. Высокомерный командир гневно спрашивает: «С каких это пор документы фронтового командира Красной Армии стал не авторитетным для тыловых крыс?!». «Предъявите документы!» - кричу на шофера. И тут, рядом сидевший красноармеец обращается ко мне: «Товарищ, понимаете, шофера убило, товарищ водитель документов на проезд не имеет. Мы спешим с важным делом в штаб дивизии». А потом помявшись, подает мне свою красноармейскую книжку. А она – еще новее. Ты тоже, думаю «фронтовик». По форме, как и моя, но и близко не родня моей. Моя истерлась в кармане, излапана грязными пальцами, а эта ... - держу ее, как змею.

«Порядок!» - говорю я, отдавая ему книжицу и снова требую от шофера: «Предъявите красноармейскую книжку» - книжка-то у него должна быть. Шофер закопошился, пытался достать из внутреннего кармана какую-то бумажку, но его снова одергивают. Тогда, чтобы выиграть время (может из наших кто появится или еще кто), я обращаюсь к сидящим на заднем сиденье: «Ваши документы!» Но высокомерный

командир с возмущением кричит на меня: «Это мои люди. Вы ответите, ...я накажу тебя!». «Поехали!» - зло с надрывом в голосе приказывает шоферу. Он ни с места. «Трогай!» - командует рядом сидящий детина. «Стой! - кричу шоферу. - Стрелять буду!» Но шофер на педаль, за рычаги... «Стой!» И... «Бабах!».

Я тем временем заскочил и стал впереди машины. Надменный командир побледнел, дрожит в ярости и страхе, выхватил пистолет «ТТ» и, угрожая, приказывает мне: «Прочь с дороги! Тебе приказывает старший!» - «Я здесь старший!» - превышая свою власть парирую я ему в ответ. Двое, что сзади, схватились за винтовки...

Из землянки выскочили и бегут ко мне мои товарищи-красноармейцы и сержант. Они как медведи из берлоги, бегут неловко, но споро. Подмога подоспела вовремя. Нас пятеро!

Чем бы все это кончилось, не появившись из тыла встречная полуторка? В ней, кроме шофера, командир в кабине и четверо в крытом кузове...

«В чем дело?» - спрашивает командир из кабины полуторки (он, видимо, слышал выстрел, да и «боевой порядок» наш насторожил его). Я подсакиваю к ним и прошу: «Помогите задержать!» Упрашивать не пришлось. Командир с пистолетом, двое красноармейцев с винтовками подскочили к легковой. «Что устроили здесь базар?» - спрашивает командир, не знаю у кого, у нас или у задержанных. И, обращаясь к командиру легковушки, вежливо, но настойчиво требует: «Предъявите, пожалуйста, документы». Смотрю, а задержанный командир достает другие документы из другого кармана. Проверяющий смотрит на них, и как мне показалось, ничего подозрительного не находит.

Вот, думаю я про себя, затеял катавасию, теперь несдобровать: переступил, превысил я свои права, нарушил армейскую субординацию. Я прошу командира: «Проверьте у этого» ... Смотрю, и второй подает другой, не тот документ, что мне показывал, а иной... Я тут как заору: «Да у них фальшивые! Мне они другие показывали» - «Какие?» - «Вот, там...». - «Предъявите!» Проверяемые жмутся. И тут, шофер стремглав выскочил из машины, упал плашмя под колеса и оттуда орет: «они контра... арестуйте...смотрите, у них оружие...»

Дело приняло другой оборот. «Руки вверх! Вылезайте!» - командует задержанный командир с полуторки. Он, оказывается, был не простой командир, а из спецорганов. У меня - гора с плеч.

Два красноармейца и один сержант разоруженных задержанных погнали в лес, в штаб, в ОКРСМЕРШ (я не знал тогда, что это за организация. Нам именовали ее как отдел контрразведки смерть шпионам).

Командир полуторки пожал нам всем руки и уехал.

Через 1,5 – 2 часа, когда на посту стоял уже другой наш товарищ, а я просто болтался на перекрестке (не мог уйти в землянку: волновался), на дороге появилась та же легковушка и в ней тот же шофер. Подъезжая к нам шофер так разулыбался, так обрадовался встрече, что, не смотря на понукания начальства из машины, остановился, пожал нам руки, поблагодарил и даже (вот это было в то время главное всего) дал нам две банки свиной тушенки и буханку хлеба. О, радость. Живем братцы! Он, - указывая на одного из тех задержанных, сидевших в машине под охраной троих наших бойцов, - сжал пальцами свой кадык, сказал: «А их сцапали! А этого туда...» - указывая вдоль дороги в тыл. Туда ему и дорога.

Оказалось, что это были немецкие лазутчики. У них была рация и другая амуниция для шпионажа. Шофера они сцапали в лесу. Он там стоял с машиной в ожидании своего командира, ушедшего с адъютантом в расположение штаба к высокому начальству. Сцапали и заставили везти, куда прикажут. Его предупредили: «Если пикнешь – не успеешь и слова договорить. Смерть у тебя за шиворотом». Одним словом, запугали парня до смерти, до потери чувства собственного достоинства.

Все обошлось как нельзя лучше. Случай этот на контрольно-пропускном пункте заурядный. Только после этого случая командир роты приказал на посту стоять не по одному, а по двое. Один проверяет, другой подстраховывает.

Много подобных и других казусов было на КПП. Проезжали и проходили-то через перекресток люди ого какие: либо с фронта, из пекла переднего края, либо туда, в пекло боя. А это – понимать надо. А мы... предъявите документы!..

Память беспокоят случаи другого порядка из той же жизни. Расскажу о двух из множества историй. О двух, так сказать, типичных случаях. Это тоже оставило в памяти свои узелки.

...Из-за поворота, поднимаясь по некрутому склону, который то и дело простреливался немецкой артиллерией, движется вереница одноконных саней-розвальней. Меж гнутых головок полозьев крестьянских саней примостились ездовые, а в розвальнях – вповалку, сбившись в плотную кучку, - раненые. Их везут из полковых медпунктов в дивизионный медсанбат и госпитали. Везут, везут, везут! Везут днем, везут ночью. На дворе крещенские морозы! А укрытием у них – тоненькие одеяльца. Тут живой, здоровый, прыгающий – и то невтерпех, а они недвижимы, а кое-кто при смерти. Жуткая, горестная картина. Доедут ли? Не заоченеют ли? Чем жив человек?! Какая сила сохраняет его от замерзания?!

Немец изредка, но простреливал. Стрелял по площади. А тут, как кто ему подсказал, обрушил смерч взрывов как раз там, где проходил обоз. Тут, правда, недалеко было ОП нашей артиллерии. Может, по ней

он стрелял, да не попал и угодил по дороге, по обозу.

Убит один ездовой и один из раненых. Обошла их смерть там, так здесь скосила. Ранено вторично трое, у некоторых, коих осколки миновали, от встряски открылось кровотечение из ран. Разбито трое саней, убита одна и покалечено две лошади... Вместо широкой снежной скатерти-дороги, образовалась черная, грязная поляна у леса, заполненная окровавленными, умирающими людьми, жалкими в их беспомощности.

Все наше отделение бросилось на помощь раненым Медсестра мотается от одного раненого к другому. Того перевязывает, тому укрепит бинта, того укроет... Очередным снарядом ранен наш регулировщик на посту.

Что делать? Как оказать братушкам действенную помощь? Бессилие тоже ранит. А машин, как на пакость, ни одной (они, видимо, укрылись в лесах, переживают обстрел).

... Легкораненых завели в свою землянку. Тяжелораненых перенесли и уложили в исправные сани. Мертвых уложили сбок дороги. Поехали... Лошадки кое-как потрусили. Их тоже, видимо, мороз пробирает. Жалкий вид у них!

Запомнилось мне, как тяжелораненые мало реагировали на обстрел. Чувствовалась какая-то отрешенность, какое-то безразличие. Легкораненые же, как пуганные-перепуганные. Они бросались в ямы, воронки и, конечно, в землянку. Тяжелораненый сержант, обращаясь ко мне, лишь попросил: «Подоткни...укрой...быстрее езжай...» Думаю, значит это не безразличие, не отрешенность от жизни, а слабость, беспомощность... И помочь им – наша святая обязанность. Говорят, что чужая боль не болит. Нет, болит. До сих пор болит где-то внутри. Где болит, в душе или в сердце? Там, где-то, куда не заглянешь.

Однажды провозили девушек. Правда, они были хорошо укрыты, но искалечены... Смотрел я на одну из них – вся в бинтах. Лицо, голова – тоже в бинтах. Ничегошеньки, думаю, не осталось от твоей красоты... Лишь красота души да жажда жизни – вот и все, что осталось. И, думаю – люди в миру! Увидите ли вы эту красоту, красоту души девушки-патриотки?.. Сумеете ли вы понять и оценить какой ценой заплатила девушка за свободу Родины, за вашу свободу...

Февраль 1942 года. Лютым он был! Птицы на лету замерзали. Мы тогда обслуживали грунтовый участок Дороги жизни. Участок ее от села Кобома (село на побережье Ладожского озера) до города Волхова.

Дорогой жизни называлась трасса от Ленинграда, затем по льду Ладожского озера (30 километров), а затем по лесным делянкам на северо-восток до станции Подборье Северной железной дороги (278 км). С освобождением г.Тихвина основные грузы в Ленинград и из Ленинграда шли

бесконечным потоком не на северо-восток, а на юго-восток, на Волхов, Тихвин и далее. Эта дорога для ленинградцев была действительно Дорогой жизни. По ней ведь везли хлеб. А значит и жизнь. По ней вывозили из Ленинграда больных, раненых, старых и малых, спасая им жизнь. Так и вошла в русский язык эта дорога, как Дорога жизни. И по праву.

Но она же часто была и дорогой смерти. Слишком уж трудно было ее создавать, защищать, обслуживать, проезжать по ней. Немец делал все, чтобы умертвить все, что двигалось по ней, что располагалось на ней. Нелегко было и нам – дорожникам. Не то, конечно, что пехотинцу в окопах переднего края. Но все же!

Помнится мне день в конце февраля 1942 года. День был вьюжный, холодный, но летный. Такие дни немец не пропускал. Он дважды, а то и трижды бомбил и обстреливал колонны машин и нас вместе с ними.

Налетали тогда на нас «юнкерсы» и «мессеры». И... Что они натворили! Ни словами сказать, ни пером описать. До сего времени мне видятся не только во сне, но и наяву, как только что-нибудь всколыхнет в памяти все то, что там было. И прежде всего, страдания людей. ...Разбитые и поврежденные машины, убитые и раненые ленинградцы, только что вырвавшиеся из оков немецкой блокады, убитые и раненые шоферы. Дорожники и многое-многое другое. И все страшное, жуткое, неотвратимое.

Представьте себе на минуту детей или больных, истощенных людей в разбитой машине, раненых осколками бомб или пулями крупнокалиберных пулеметов, живьем гибнущих на студеном ветру, на трескучем морозе...

Вам трудно представить, а мне не нужно представлять. Я вижу их, я чувствую их боль, их муки, их мольбу. Гансы злорадствуют. Они возмещают злобу за неудачи под Ленинградом, под Москвой... они бомбят и бомбят, стреляют и стреляют. И нет на них сегодня никакого спасения: «ястребки» не появились, зенитки бьют, но вдалеке.

... В машине везли ленинградцев. Люди-скелеты, люди беспомощные, едва живые. Попали под бомбежку. Мужчина-ленинградец разжевывает сухарь, только что отданный ему мною, чуть-чуть глотнет, а остальное дрожащей своей левой рукой берет изо рта разжеванные кусочки и вталкивает в рот женщины. Она едва-едва дышит. Он вталкивает ей в рот разжеванный сухарь, и с таким отчаянием, с таким безысходным горем, со слезами на глазах, просит ее: «Надюша, кушай! Надюша, кушай! Не умирай, Надя! Мы вырвались, слышишь, мы вырвались...»

Да разве это и все?! Разве только это?

Вот уже 37 лет прошло с тех пор, а не забывается, не сглаживается в памяти все это. До сих пор помнится. До сих пор душу жжет жалость к

нашим людям и ненависть, неизбывная ненависть к немецко-фашистским извергам.

Дорогу жизни мы обслуживали до конца апреля 1942 года, до тех пор, пока лед на Ладоге держал машины и людей, пока он не растаял.

Полк наш, обезлюдивший, а может быть и по каким-то другим причинам, расформировали и нас передали в 1777 стрелковую дивизию Волховского фронта. И ... сразу в бой. Сразу! В первом же бою были ранены мои однополчане Петр Осадчий, командир взвода, батальонный комиссар и многие другие.

## О Дороге жизни

Ленинградская Дорога жизни у меня, - как и у многих советских людей, связанных военной судьбой с трагедией людей в блокированном немцами Ленинграде, - тоже оставила в памяти свои узелки. Вот уже почти 40 лет прошло с тех пор, а они никак не развязываются и не изглаживаются.

Один из них завязался в лютый февраль 1942 года. Он чаще других напоминает о себе, о нем я и расскажу. Замечу, между прочим, что таким живучим он оказался видно потому еще, что с ним связаны и другие воспоминания, другие узелки, завязавшиеся в памяти после, в других условиях, в другой среде. Но они связаны единой нитью памяти.

Весна в Синявинской низине в разгаре, уж май на исходе. Все живое ожило, особенно комары, а все мертвое, хранившееся под ледяным панцирем болот, - с наступлением тепла, разлагается, наполняя воздух приторным запахом. Даже лесной воздух не в силах заглушить запах тления.

Наша артиллерийская батарея 76-ти миллиметровых полковых пушек (в то время я воевал уже в артиллерийском полку подносчиком снарядов) занимает огневую позицию на опушке леса, на взгорье. Здесь сухо, но болото дает о себе знать. Боевой расчет орудия, отстрелявшись, ждет новой команды.

И тут, сигнал воздушной тревоги...

В небе, почти над нами, две тройки «юнкерсов» и два-три «мессера».

- Куда же они летят? - спрашиваем друг у друга.

- На Ленинград, куда же еще, - ворчит командир орудия.

- Не-е-т, на Дорогу жизни, - поправляет его кто-то.

Забабахали наши зенитки. Редко, правда, но стреляют. В воздухе появились наши «ястребки». Завязался воздушный бой. А «юнкерсы» знают свое дело - летят, издавая знакомый гул, летят через нас.

Но вдруг тройка из них отклонилась на юг, развернулась, набирает высоту, заходит на пикирование.

- В укрытие! – командует командир орудия.

Кто в землянку, а кто не успел – голову под пушку... Почему под пушку, под лафет? Почему головой? А куда же больше, когда «юнкерс» уже «катится» с небесной горки прямо на тебя, чего же прятать в первую очередь, если всего себя спрятать некуда? Конечно же, голову: без нее ведь не жилец – не то, что без какой-нибудь там ноги или руки, к примеру.

Немцы, либо промахнулись, либо по другой цели били: и бомбы, и пулеметные очереди прошли мимо нас. Смотрю, а два из них снова разворачиваются. Причем, разворачиваются с разных сторон. Шутки плохи! Прыжок один, другой, и я кубарем скатываюсь по порошкам в землянку. Благо, что дверей никаких не было. В землянке затишней: сделали ее на совесть, с тремя накатами.

Э, думаю, в артиллерии жить можно. Не то, что в пехоте, даже не то, что в дорожных войсках: затишнее (я тогда еще не знал, что и в артиллерии бывают ситуации аховские).

Один из этих двух «юнкерсов» прострочил по нашей ОП и сбросил три бомбы мимо в болото. Там они где-то в глубине ухнули, вывернули нутро болотное на свет божий, да и на том затихли.

- Еще летит! – сообщает заряжающий орудия красноармеец, выглянувший было из землянки.

- Тра-та-та! Та-та-та! – говорит в вышине пулемет.

- Цок! Цок! Цок! Дзи-и-и-инь! Дзи-и-и-инь! – заговорили пули с накатами на землянке да с лафетами и броневыми щитами пушек.

Командир орудия строго глянул на меня и проговорил:

- Дронов, слышишь? – Твои! По тебе «дзинькуют». Другой раз, мол, не оставайся там, не прячь голову под лафет, как страус под крыло...

Пронесло. Но может и еще «принести»: обнаружили ведь. Сидим в землянке, ждем. Чего? Кто скажет? Все может быть: и обстрел из орудий, минометов и бомбежка, и команда комбата на открытие огня. А пока...

Говорим о том, о сем. Один вспомнил, как за нами на марше гонялись «мессеры», другой рассказал, какой казус с ним случился: во время бомбежки спрятаться было некуда, так он плюхнулся в яму, под разбитый туалетный сарайчик, а потом никак не мог отмыться...

Всяк свое и про свое. Я же, все продолжаю сравнивать, как здесь и как было там, на Дороге жизни, и спрашиваю у ребят:

- Рассказать вам, братцы, как гонялись за нами гансы на «юнкерсах» вот тут, недалеко, на дороге Волхов – Кабона. Как бомбили и расстреливали они беззащитные колонны машин и людей в них?

- Расскажи, расскажи, – заговорили сразу наводчик и другой красноармеец.

Что же, назвался груздем, полезай в кузов.



- Было это,- начал я свой рассказ, - три месяца тому назад, в конце февраля. День был морозный, ветреный. Стужа была неимоверная. Такая стужа, что пичуги сидели где-то в укрытии, не летали. А те из них, которые отваживались или были напуганы кем-либо и оказывались в воздухе - на лету замерзали и мертвым комочком падали на дорогу, к людям. Наверно в предсмертную секунду решили искать спасения у людей, но поздно решили: замерзли и падали бездыханными.

Работала наша рота на дороге. Машины с трудом, но шли. Шли бесконечным потоком, соблюдая, конечно, интервалы. В Ленинград везли мешки с мукой, мясо тушками, консервы и пр. и пр., в чем нуждался город, фронт, люди. Из Ленинграда же вывозили раненых, больных, пожилых людей, детей, ценности, оборудование...- Тут у меня, как сейчас помню, что-то запершило, перехватило в горле, и я замолчал. Ребята загомонили.

- Тише! - крикнул командир орудия. И обращаясь ко мне, говорит: - Продолжай, Дронов.

- Да. Везли людей, взрослых, детей, больше маленьких всяких возрастов. Вы знаете, это были скелеты, обтянутые кожей. Лица у них, большей частью, серые, землистые, потерянные. Прямо скажу, многие уже были не жильцы, но живые. Живой человек, но беспомощный, слабый... Его бы в теплую, светлую палату, на обильную пищу, тогда бы он, конечно, ожил, поправился. Но не было у ленинградцев этих палат, не было обильной пищи. Была машина, крытая брезентом, был трескучий мороз. И была, видно, у них надежда: раз вырвались из блокады, то теперь будем жить, работать, трудиться.

Работали мы, а самих подмывало: быть беде, день - то летный. Значит немец будет бомбить, он не пропускал ни одного летного дня, а иногда и ночами бомбил. И, как напрогнозировали. Налетели на нас девять «юнкерсов» да столько же «мессеров». Не на нас персонально, а на дорогу, на которой мы работали, по которой шли машины. Что там было рассказать невозможно! Немцы принесли и смерть, и страдания.

Дорогу эту тоже называли Дорогой жизни. Я говорю «тоже» вот почему. Дело в том, что Дорогой жизни считалась ледяная дорога из Ленинграда через Ладожское озеро (30 километров) и грунтовые участки на северо-восток от кромки льда у Кабоны до станции Подворье Северной железной дороги. Общая длина ее 308 километров. Как работало людям там, я не знаю, а вот, что было на южном грунтовом участке, от Кабоны до Волхова и Тихвина - навиделся, натерпелся. Этот участок Дороги тоже стали называть Дорогой жизни. Что правда, то правда, она была для Ленинграда действительно Дорогой жизни. По ней шел хлеб, а значит и жизнь. Знаете ли вы, что в ноябре прошлого года нормы выдачи хлеба

были сокращены рабочим до 250 граммов, всем остальным – до 125 граммов в день. Это было вызвано немецкой блокадой города и поджогом немецкими бомбардировщиками 10-го сентября 41-го года продовольственных складов в городе (Бадаевских хранилищ). Ясно, что при таком пайке долго не проживешь. А ленинградцы жили, трудились, защищали свой город! С началом работы дороги, в третьей декаде ноября, город вздохнул легче, паек был увеличен, смертность людей уменьшилась. Так по праву и вошла эта дорога в русский язык под именем: Дорога жизни!

Но...она же часто, очень часто была и дорогой смерти для тех, кто защищал ее от немцев, работал на ней, да и для тех, кто проезжал на ней. Немец делал все, чтобы умертвить ее и все живое на ней. Закрывать доступ в Ленинград хлеба и всего того, что надо было для жизни.

Вот и на этот раз «юнкеры» измывались над беззащитными людьми. Завидя взмывших из-под Ладейного Поля наших «ястребков», «юнкеры» смылись. В воздухе носились лишь «ястребки» и «мессеры», но и потом они скрылись.

Мы повскакивали из своих «укрытий». Укрытиями-то у нас были у кого что. У кого ровик, у кого кювет, у кого воронка от бомб, у кого просто колдобина на дороге, а кто и так плюхнулся, в сугроб, залез в него головой и ... в «укрытии». На нас тогда пикировал второй «Юнкерс». Первый – в сторону Волхова, а остальные – поочередно – к Кабоне и Ладоге. Рота потерь понесла мало. Лишь двое были ранены да один контужен (оглох). Взводы и отделения получили задания оказать помощь пострадавшим и обеспечить движение машинам на участке. Нашему достался третий участок дороги от места нашего нахождения в сторону Кобены. Вскочили на мешки муки проходящей машины и ... пошел! По пути – мать честная! То в дребезги разбита, то повреждена машина, то шофер ранен, то... Добрались до «своих» километров. А тут – не легче. Главное, - на правой стороне стоят две крытые машины. Знаем: там люди. Мы к ним. В машинах стон, крики. Оказалось: первая машина прострочена пулеметной очередью крупнокалиберного пулемета, ранены двое, вторая – повреждена осколками бомбы, двое убито, трое ранено. Товарищи мои приступили к оказанию первой помощи раненым. Перевязали как могли, и отправили на попутных машинах (в кабинах) в Волхов. Мертвых аккуратно сняли и положили на обочину дороги. Что же делать с остальными людьми? Кабин не наберешь, а отправлять в открытой – значит посылать на верную смерть: замерзнут.

И тут видим, как из прилегающего к дороге леса выскочили батареи БМ -13 многозарядных ракетных установок на машинах. Наши «катушки». Они свернули на дорогу и направляются к нам (спешили они, как потом выяснилось, на выполнение боевого задания на ПК. У них

была своя тактика: выскочат на КП, дадут залп и ...поминай, как звали: уходят своими дорогами в тыл на другой участок обороны. Немцы охотились за ними, как за самой важной целью. Ходила шутка, что Гитлер очень хотел засватать нашу «катюшу» за своего зексмана – 6-ти ствольный миномет, и в приданное готов отдать Антонеску и Муссолини со всеми их войсками.

Вот какая она легендарная «катюша»! Она еще в июле 41 года показала себя на боевых смотрах.

Я останавливаю впереди идущую машину, чего делать я не имел права. Остановить я мог их только в том случае, если им грозила опасность при дальнейшем передвижении. А тут наоборот, остановка создавала опасность: немец мог ведь снова налететь.

- Товарищ командир, разрешите обратиться (мы их всех называли командирами. Да так оно и было. Рядовых у них не было, да и знаков отличия они не носили).

- Обращайся, - крайне недружелюбно, зло отвечает он мне.

- Вы куда следуете? – Надо же так глупо ляпнуть! Я хотел узнать про следуют ли они через Волхов. Но разве можно было об этом спрашивать!

- Для чего это тебе! – грозно, с приступом спрашивает он у меня.

- Да вот людей... - спешу я внести ясность.

- Ты много хочешь знать. Кто много знает, того... указывает на пистолет: - понятно тебе?!

- Да понятно! Знаю, что Вы тоже смертны и что умереть Вы можете только в воздухе (напоминаю ему, что так поступил И.А.Флеров, командир первой отдельной батареи ракетной артиллерии. Что они ни при каких обстоятельствах не должны попасть в плен к немцу. В безвыходных ситуациях должны были взрываться). - Вы только скажите, можете ли Вы оказать помощь этим людям (указываю на стонущих, плачущих ленинградцев). - Если нет – проезжайте, - довольно таки резко говорю я.

Помогло! Я и не заметил, каким сигналом он подозвал к себе сопровождающего машину-будку и не уловил суть его приказа. Услышал лишь его приказ своему подчиненному: «В 16.00 быть...»

Из будки выскочили несколько человек, пересели в боевые, а будку задним бортом уже подгоняют к разбитой машине к ленинградцам.

Злой, но добрый, командир – ракетчик лишь крикнул мне: «Другой раз – застрелю!» и помчался со своими «катюшами» бить немцев.

«Вылезайте, братушки, - обращаюсь я к ленинградцам. Но что это: никакого движения! Мы к ним в кузов, а там, боже мой! Лежат людискелеты. Лишь глаза у некоторых светятся, а у многих и того нет.

Люди вы наши люди! До чего же довела вас немецкая блокада!

Ракетчику некогда. Он командует мне: «Берем». Другим моим то-

варищам приказал: «Держите», а своего шофера послал в будку принимать и раскладывать там «пассажиров».

Люди укутаны и кажутся массивными, а возьмешь – и поднимать-то нечего: так легки и бестелесны они были. Кое-кто мокрый... иные в... Беда. Мертвые на обочине: им спешить некуда. Живых пересадили в теплую будку, раненых посадили в кабину – порядок.

Бежим с ракетчиком к другой машине. Она заглохла, но на колесах. Будем буксировать. По дороге я спрашиваю у него: «Хлеб есть?». Он достает два сухаря и сует мне в руку: «На». «Да нет, - говорю, - им грамм по 100 хотя бы». Он развел руками: нету мол. Потом повернулся и пошел к своему шоферу.

Я тем временем распорядился двумя сухарями, которые он мне сунул в руки. Разломил их на четыре половинки и отдал четверем ленинградцам, тем, что были у заднего борта.

Пока мы пристраивали трос, очищали путь подхода к машине, шофер-ракетчик разрезал две буханки хлеба на 24 куска, сгреб их в полу полушубка и раздал по кусочку на брата в своей будке. Остальные несет к нам, ко второй машине.

Я влез в будку к ленинградцам, и стараясь ободрить их, громко говорю: «Живем, братцы, «катюша» гостинцы вам прислала, - имея ввиду кусочки хлеба, что несет в поле полушубка шофер-ракетчик. Но, оглядевшись, замолчал: и здесь не до бодрых слов. На меня смотрела изо всех углов косая ведьма-смерть. Один из тех, кому я ранее отдал полсухаря, - по виду он был либо профессор, либо инженер. Либо мастер -золотые руки, человек, как говорится в народе, не из последнего десятка, - так вот он, этот ленинградец, разжевывая сухарь, чуть-чуть глотнет, а остальное берет пальцами левой руки и вкладывает в полураскрытый рот женщины. Лежавшей рядом с ним, справа. Кто была ему эта женщина – жена ли, дочь ли, спутница? Не знаю. Вталкивает ей в рот эти разжеванные кусочки и с безысходным отчаянием потерянным голосом со слезами просит ее: «Надюша, кушай. Надюша, кушай! Не умирай, Надя! Мы вырвались, Надя».

Выскочил я из машины: не мог вынести раздирающие душу слова. Попросил ракетчика залезть в будку и раздать людям кусочки хлеба. Слышал лишь, как он там кого-то уговаривал: «Бери, бери, ешь!» Видно, что не все уже были способны взять хлеб.

Я отошел. Сел на обочину дороги, свесил ноги в расчищенный нами кювет и...

Машины дернулись раз, другой, и пошли месить колесами сыпучий снег, направляясь в Волхов.

Скажу я вам, братцы, прямо: многие из них, из тех, что лежали в

машине, были уже не жильцы на этом свете. Жизнь они отдали Ленинграду. Борьбе с немцами.

Сидел я на колючем ветру, на перемерзшем снегу и думал: «Немцы! Каким же судом следует судить вас за ваши злодеяния?! Какую же кару вам придется испытать, когда добудем мы победу над вами?! Не будет прощения ни вам – извергам, ни матерям, вскормившим вас, ни детям вашим...»

«Немецкий народ тут ни при чем», - ошарашил меня из-за спины чей-то уверенный, не допускающий возражения голос.

То, оказывается комиссар батареи, младший политрук А. Орлов, сидя на порожке входа в землянку, слушал мою исповедь перед товарищами, а когда я загнул через край – решил поправить меня.

«Товарищи красноармейцы и младшие командиры, - берет слово комиссар, - Надо помнить приказ товарища Сталина от 23 февраля. Там сказано: «Красная армия свободна от чувства расовой ненависти» и, что «гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остается».

Опешил я от неожиданности, от абсолютно точной и не поддающейся обсуждению поправке.

Но чувства и воспоминания, охватившие меня, взяли верх. Я, забывшись, где я и кто я, парирую комиссару: «В этом же приказе товарищ Сталин сказал, приведя слова Максима Горького: «Если враг не сдается, - его уничтожают». Уничтожить, значит, надо его! Сталин же сказал: «За полный разгром немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам. Смерть!» Сталин же сказал Первого мая: «...нельзя победить врага, не ненавидев его всеми силами души. Вы, товарищ комиссар, говорите, что к немцам гитлеры приходят. Нет. Гитлеры, Вильгельмы, Фридрихи и прочие фюреры немецкие к немцам не приходили. И не приходят. Немцы их сами породили и сами выпестовали! Немцы-крестonosцы, немецкие псы-рыцари, немцы-захватчики, немцы-изверги, немцы-звери – вот кто наш враг: немцы! Так к кому же прикажите мне иметь ненависть, кому мстить в бою, кого убивать? – немца или кого другого. Или только лишь Гитлера, до которого и добраться то можно только по немецким трупам».

Чувствую я, что в полемике зашел слишком далеко. Остановился. Помолчал, а потом встал и по стойке смирно, как положено младшему перед старшим по званию и должности, говорю комиссару: «Товарищ комиссар, после войны разберутся, а сейчас – смерть немцу, месть немцу, бить немца до последней капли крови... - Постоял немного, потом снова бухнул свое, - Да и после войны всепрощения немцам допустить нельзя!»

Комиссар как-будто ступешался, а потом вышел в центр землянки и говорит: «Правильный вывод сделал ваш новенький. Мы должны наказывать немецких захватчиков. И накажем».

Потом сел на бревна, служившие нам постелью, и продолжил нашу беседу: «Вот это Дорога жизни, о которой рассказывал Дронов, действительно спасла жизнь тысячам ленинградцев. Нам стали известны такие данные. Если в апреле умерло в Ленинграде от голода 102497 человек, то теперь в мае месяце, смертность резко сократилась: за зиму подвезли хлеб, мясо, сахар и прочее продовольствие.

Нам известно, что Гитлер приказал своим генералам задушить Ленинград костлявой рукой голода. Они хотят все-таки опоясать его вторым кольцом блокады, т.е. и нас взять в блокаду...»

Далее комиссар привел цифры потерь немцев под Ленинградом. Рассказал, как воюют полки нашей 177 стрелковой дивизии. Какой урон врагу нанесла наша 2-я артиллерийская батарея...

Призвал нас быть бдительными. Повышать свое боевое мастерство, не жалеть себя в боях с врагом в предстоящих боях по прорыву блокады Ленинграда.

Хорошо, грамотно, убежденно он говорил. Толковый, боевой был у нас комиссар. Но вот ведь как человек устроен, какой он упрямый в своих чувствах: он говорит, я слушаю, но слушаю его как-то в полголовы. Вторая половина головы занята тем, о чем я только что рассказал бойцам: «Надюша, кушай. Надюша, кушай! Не умирай, Надя! Мы вырвались!..» и свое на уме «...Немец, мы отомстим тебе за муки и смерть, которые ты принес нашим людям».

.....

25 августа 1942 года вызвал меня в свой блиндаж комиссар Орлов и повел такой разговор:

- Ты помнишь ту беседу, которую проводил с расчетом месяца три тому назад?

- Да мы разговаривали...

- Вот, вот «разговаривали». Так теперь я поручаю тебе провести такой разговор со всеми расчетами батареи (в то время я был командиром расчета орудия). Как ты на это смотришь?

- Да как-то... не сумею я... Да будут ли слушать?

- Ты же командир орудия, командир – воспитатель расчета! Кто же слушает? Кого же слушать? Я слушал. Знаю.

- Ну, раз так...

- Вот тебе дополнительный материал. Прочти здесь. Никуда не выноси. Этот материал поможет тебе. Расскажешь о блокаде Ленинграда и о том случае. Договорились?

- Да тот случай не самый, самый!
- А ты расскажи про другой, про самый, самый.
- Что же, так значит так, - ответил я согласиём.

26 августа 1942 года состоялся мой «дебют» агитатора. А потом пошло-поехало: одна беседа за другой. И с тех пор отсчитывал я годы своей агитационно-пропагандистской деятельности. Этому важнейшему партийному поручению я отдавал всего себя более тридцати лет! Сначала в Красной Армии, а затем и в миру.

Запомнился мне этот день 26 августа 1942 года еще и потому, что на следующий день, т.е. 27 августа наши части, в том числе и наш 262 артполк, предпринимали четвертую по счету попытку прорыва блокады Ленинграда. Было чему запомниться, было от чего завязаться еще одному узелку в памяти. Два часа непрерывно мы били по врагу (это была так называемая артподготовка наступления). Затем 10 минут крушили врага наши «катюши». После этого в наступление пошли стрелковые части, а за ними и мы. Но... и на этот раз прорвать блокаду не удалось. 7 – 8 километров оставалось до встречи с войсками, наступавшими со стороны «Невского пятачка» и... не смогли мы их преодолеть!

.....

На этом я и прерву запись своих воспоминаний о том времени и о себе.

Скажу еще раз, что те первые месяцы войны, - воспоминания о которых я пытался изложить в трех тетрадах, - были для меня самыми тяжелыми, самыми изнурительными и самыми опасными из всех 46 с гаком месяцев войны.

Да, это так!

И это, несмотря на то, что служба дорожников – тыловая служба. Может быть это потому, что в 1941 году трудно было сказать, где фронт, где тыл, где передний край, где свои, где чужие, ... «где она, Россия, по какой рубеж своя?» При устоявшихся позициях в обороне, а тем более в наступлении, дорожникам, конечно, легче, чем атакующим частям. А в 41-м – не приведи бог никому таких «тыловых служб». Может быть, далее, это потому, что в последующие годы мы наступали, побеждали, громили врага и при этом, все тяготы, боли, ранения, контузии, потери воспринимались и переживались не так тяжело. Перед масштабом побед они казались незначительными. Нас озаряла радость Победы – великая исцеляющая сила.

Впереди у меня были еще годы войны. Впереди была служба в пехоте, в артиллерии, в бронетанковых частях; впереди были ранения и контузии; впереди были тяжелейшие бои по прорыву блокады Ленинграда, освобождению Новороссийска, Тамани, Украины, Польши, Чехо-

словакии, бои в самой Германии; были и черные дни поражений в боях и прекрасные дни побед – все было, многое, с излишком многое пришлось вынести, но, повторяю, первые месяцы войны – оставили у меня в памяти, в душе и на сердце, самые страшные, самые глубокие следы.

Когда я вспоминаю про все то, невольно приходят на ум строки из стихотворения Матвея Крючкина:

Взгляд мой затуманился, слезится  
И не видит мушку острый глаз...  
...Ноги, мои ноги, мои ноги,  
Сколько пережено в боях...  
Где-то вы, российские дороги?  
Вас теперь я вижу в сладких снах.  
(*Годы великой битвы. Сб.М. 1958. С.469*).

Я бы вместо слов поэта «в сладких снах» вставил другие, свои слова. Ибо, если мне снится кошмар, - а это бывает часто, уж слишком часто, и я мечусь в постели, то это из 1941-го. Если я во сне задыхаюсь, то это из 41-го. Если я в бессилии... – то это тоже из 1941-го!

Кошмары 1941-го до сих пор преследуют меня. И разве о них расскажешь? Не расскажешь. Но и «...дороги эти позабыть нельзя»

Наблюдая теперешнюю нашу жизнь, думая об угрозе развязывания 3-й мировой войны со стороны мирового империализма, мне претит безмятежное отношение к грозящей опасности многих людей. Особенно возмущает потребительское отношение к жизни некоторых частей нашей молодежи.

Вспоминается мне, как в 1941-м, - под Ленинградом в тяжелой обстановке отступления и огромнейших потерь в людях и материальных средствах страна, - я делал вывод для себя и говорил товарищам: «Лучше бы мы больше трудились в годы первых пятилеток (не по 8, а по 9, 10 часов), лучше бы меньше ездили на курорты, на выставку в Москву (мне довелось там бывать тогда), лучше бы мы львиную долю национального дохода вкладывали в авиацию, артиллерию, бронетанковые войска и прочее и прочее вооружение, чем теперь (1941) столько терять, столько страдать, быть часто просто беспомощными перед вооруженным до зубов врагом, перед озверевшими немецко-фашистскими захватчиками».

«Да, лучше бы!» - говорили мы друг другу.

Не пора бы об этом подумать новому поколению защитников Родины, Октября, коммунизма?! Пора!

1979 год.

Поселок Майский,  
Белгородской области.

Ваш А. Т. Дронов.



## Содержание

Вместо предисловия.....	3
Память о 41-м не угасает. Сумею ли рассказать? Тщеславная надежда.....	5
Марш полка к фронту.....	7
Первые дни войны.....	7
В нашем небе как дома.....	8
Письмо от брата Ефима Тихоновича Дронова.....	9
Ответ: хочу.....	12
Комиссар читает нам выступление И.В. Сталина от 3 июня 1941 года. Слово – полководец. Красноармейцы о выступлении вождя.....	13
Я шел и спал! Как важно было иметь крепкие ноги.....	15
Кто есть кто. Враг советской власти шагнул рядом.....	16
Последняя остановка из мира в войну.....	17
Немец разобьет, мы восстанавливаем. Мы восстановим – немец разбивает. Небо снова в крестастых «стервятниках».....	21
Наши войска отступают от Луги к Ленинграду .....	43
О Дороге жизни.....	70

---

**Дронов Александр Тихонович**

**Узелки в памяти  
(Воспоминания. Июнь 1941 – апрель 1942 гг.)**

Стилистика и орфография автора сохранены.  
Фотография из личного архива Дронова А.Т.

Предисловие Корниенко П.П.  
Компьютерный набор, верстка Пастухова И.Ю.

308503, п. Майский Белгородской области  
Типография Белгородского государственного  
аграрного университета имени В. Я. Горина